



# Павел Валерьевич Басинский

## Полуденный бес

[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=2771375](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2771375)  
*Полуденный бес / Павел Басинский: АСТ, Астрель; Москва; 2011*  
*ISBN 978-5-17-075586-8, 978-5-271-37338-1*

### **Аннотация**

«Полуденный бес» – захватывающая история о юноше-сироте Джоне Половинкине, который родился в СССР, воспитывался в США у приемных родителей и вернулся на родину в августе 1991 года, в самый драматический момент нашей истории. В силу загадочных обстоятельств рождения Джона, за него борются темные и светлые силы, генерал КГБ и юродивый старец Тихон, капитан милиции Соколов и мистик-масон Вирский... Семейный и приключенческий роман, мистическая и любовная история, увлекательный детектив и политический триллер искусно сплетены в настоящий русский роман в его классическом понимании.

## Содержание

Глава первая	4
Два Иоанна	4
После бала	9
Отец предлагает свою дочь	14
Падение	18
Быстро, просто и страшно	21
Брат Родион	26
Брат Платон	30
Глава вторая	38
Новый русский	38
Ихнее сиятельство приехали!	40
Вирский	44
Волчица	51
Коготок увяз, всей птичке пропасть	54
Половинкин проводит расследование	57
Глава третья	63
Городок Малютов	63
Максим Максимыч	68
Конец ознакомительного фрагмента.	72

# Павел Валерьевич Басинский

## Полуденный бес, или Жизнь и приключения Джона Половинкина

*Не убоишься от страха ночного,  
от стрелы летящая во дни,  
от вещи во тьме преходящая,  
от сряца и беса полуденного.*

*Антону и Александру*

### Глава первая Красный сенатор

#### Два Иоанна

Ранним холодным утром начала октября 190\* года в Кронштадтском Андреевском соборе шла служба. На клиросе священник Иван Ильич Сергиев, прозванный в народе Иоанном Кронштадтским, самолично читал канон, дирижуя небольшим хором причетников.

Манера чтения отца Иоанна удивляла многих, кто видел и слышал его впервые. Он резко взмахивал руками, повышая тонкий голос в самых неожиданных местах, и с такой юношеской самозабвенной страстностью выводил обычные ирмосы и тропари, что потребовался не один год с начала служения отца Иоанна, чтобы с такой дерзкой манерой смирилось кронштадтское общество и духовенство. Но народ этого не замечал. Он любил своего пастыря наивно и не рассуждая. Ведь одной заочной молитвы отца Иоанна было достаточно, чтобы исцелить безнадежного больного. Слухами об этом полнилась вся Россия, и не было в ней места, где не знали бы о святом праведнике и чудотворце из Кронштадта.

Наступило время общей исповеди. Эту вольность отец Иоанн позволял себе вопреки осуждению в церковных верхах. Он возражал: лучше я исповедую сразу тысячи жаждущих спасения, чем хотя бы один останется без исповеди и причастия.

Отец Иоанн начал строго:

— Те, кто пришли сюда в надежде скорого раскаяния и избавления от всех сомнений и тяжести душевной, которые всегда есть свидетельства наших бесчисленных грехов, не просто глубоко заблуждаются, но и по совести не должны причащаться Святых Таин, ибо они к этому еще не готовы. Только во времена Спасителя было легко каяться – пришел, поклонился в ноги Христу, излил перед Ним всю душу, оросил слезами Его стопы и сразу получил прощение грехов. Разбойник, возопивший на кресте: «Помяни мя, Господи, во Царствие Твоем», в мгновение ока был исповедан и *ныне же* оказался в раю. Но не сравнивайте себя с ним! Ибо он усладил своей верой последние минуты Спасителя, когда Он был окружен гонителями, когда Его природа человеческая невыносимо страдала. Вы же должны ежедневно каяться, плакать и обещать никогда больше не грешить!

В высоком голосе отца Иоанна было что-то электрическое. В просторном храме, где собралось до пяти тысяч народа, стало тихо и тревожно, как перед грозой. Послышались

рыдания. Молодые бабы и девки в цветастых, расшитых золотыми нитками платках застонали громко и протяжно. В этих столах было что-то чувственное. Огромный матрос с белым лицом и черными, точно прокопченными усами, до этой минуты стоявший неподвижно и не сводивший с отца Иоанна бессмысленно-восторженных глаз, после слов о разбойнике очнулся, схватился за волосы и заголосил тонко и страшно. Пожилая мещанка-салопница, висевшая на руках двух дюжих сыновей, вдруг захрипела басовитым голосом, а потом брызнула густой белой пеной и затряслась, как пойманная утка. Но сыновья не обращали на нее внимания. Они смиренно ждали, когда великий чудотворец начнет исцелять бесноватых.

В храме началось что-то жуткое, нечеловеческое и необъяснимое для всякого, кто пришел сюда впервые и еще не видел общих исповедей Иоанна Кронштадтского. Вся толпа пришла в движение, как единый организм. Но каждый ее член страдал и содрогался отдельно, и только источник недуга был один на всех. И люди это понимали и стремились выгнать из себя злобную хворь. Многим становилось нехорошо. Случились первые обмороки. Но хуже всех было тем, кто не чувствовал единства с толпой.

В главном приделе, рядом с колонной, стояла высокая женщина в креповом платье, короткой шубке и меховой шапочке с белой вуалью. Вуаль скрывала ее глаза, но и по нижней части ее лица было легко догадаться, что она молода и хороша собой. Ее верхняя губа слегка подрагивала. Дама забывала креститься в положенных местах службы и нервически смотрела по сторонам, словно искала выхода из толпы. Было видно, что она тут впервые...

Иоанн Кронштадтский продолжал:

– И я, недостойный, молю Господа простить все мои беззакония! Я помолюсь о вас, а вы помолитесь обо мне!

– Где нам до тебя, батюшка! – кричали в толпе. – Ты за нас помолись!

– Раскаиваетесь ли вы? Обещаете ли стараться больше не грешить?

– Грешны, батюшка! Раскаиваемся! Помолись за нас! – взорвались под куполом храма тысячи голосов.

Отец Иоанн глубоко вздохнул, как после тяжелой работы, поднял перед собой епитрахиль и произнес разрешительную молитву. Литургия продолжалась. В алтаре не менее сотни допущенных старостой счастливиц из числа прихожан вместе с двенадцатью священниками приготавливали Святые Дары. На престоле стояли двенадцать чаш и дискосов. Кронштадтский продолжал служить, выкрикивая отдельные слова.

В девять часов утра он стал приобщать. Помогал ему тучный чернородый ключарь собора протоиерей Попов. Началась невообразимая давка! Несколько городских с заранее приготовленными железными решетками бросились организовывать очередь. Но их смяли. Толпа давила на решетки, цеплялась за них ногами. Люди падали и валили полицейских на пол. Послышались женские крики и визги, сердитые мужские голоса. Кое-как, грозя саблями, городские навели порядок.

Во время таких служб бывали кровавые жертвы. Случались и смертельные исходы, о которых язвительно писали газеты. Однажды чуть насмерть не задавили самого Кронштадтского. Полиции пришлось с помощью оружия вывозить старика из обезумевшей толпы. Говорили, что он сильно хворал после этого. Еще говорили, что он тяжело страдает от своей непомерной славы. Но были и те, кто обвиняли Кронштадтского в тщеславии и даже называли его мошенником.

В то время в России было два человека, способных вызывать к себе одновременно любовь и ненависть, – Лев Толстой и Иоанн Кронштадтский. Они не были знакомы, но не любили друг друга. Толстой – холодно и насмешливо, как просвещенный барин, отец Иоанн – жгуче и страстно. Однажды он попросил в своем дневнике Бога убить Толстого: «Господи, убери этот труп зловонный, гордостью своею посмрадивший землю!» Это была вечерняя молитва отца Иоанна...

Рядом с дамой в короткой шубке стоял неопределенного возраста господин со старомодной позолоченной тростью и модным цилиндром в руке, в черном плаще с белым подбоем. Заметив беспокойное выражение лица соседки, господин улыбнулся и шутливым жестом распахнул полы плаща, как бы предлагая укрыться за ними. Жест был вульгарен и неуместен в храме. Женщина отвернулась.

– Не бойтесь, – произнес господин развязно. – *Эти* не опасны. Впрочем, для вас было бы надежнее завернуть за колонну или встать за моей спиной.

«Какой нахал!» – неискренне подумала дама. Словно угадав ее истинное настроение, господин придвинулся к ней.

– Церковь не лучшее место для знакомства, – прошептал он ей в ухо, – но позвольте представиться: Иван Родионович Вирский.

И он протянул ей руку, которую она машинально пожала, так же машинально отметив, что кисть у незнакомца слишком мягкая и тонкая в кости для такого крупного мужчины.

– Вы впервые здесь?

– Да, – призналась она виновато.

– Пойдете к причастию? Не советую! Видите ту особу в очереди? Она не идет, а как бы крадется к батюшке. Ого! Он тоже ее заметил. Ха-ха! Нахмурился – видите? Он ждет от нее больших неприятностей – да!

Надежда Павловна, так звали молодую даму, тотчас поняла, о ком идет речь. Мелкими шажками, крадучись, к отцу Иоанну приближалась низкорослая, горбатенькая бабенка, по самые глаза закутанная в черный платок. Под платком смешно торчал ее тонкий и востренький, точно сдавленный щипцами, носик. Глаза ее безумно блестели.

Отец Иоанн приобщал неторопливо, внимательно всматриваясь в лица причастников. Кому-то он улыбался и ласково гладил по голове. Его ладонь могла пробежаться и по жестким вихрам мальчишки-подмастерья, и по завитым волосам щеголя, схваченным душистым фиксауаром, и по строго склоненному затылку морского офицера. Но женщину в черном платке Кронштадтский не причастил, а грубо толкнул указательным пальцем в голову.

– Вон, еретица! – гневно сказал он, чтобы его слышали в очереди. – Во-он! Я запретил тебе ходить сюда, покуда не раскаешься в своей ереси!

Женщина слушала батюшку, как-то странно поедая его преданными глазами. Но когда перед ней замаячил указательный палец Кронштадтского, она вдруг подпрыгнула, как бульдожка, и вцепилась в него острыми желтыми зубками. От неожиданной боли священник вскрикнул. С трудом выдернув палец из ощеренного рта женщины, он оттолкнул ее от себя. Слизывая языком кровь, женщина бормотала:

– Иисусе сладчайший! Вот и причастилась! Сподобилась! Святой плоти и крови Иоанна причастилась!

Городовые схватили женщину под руки и поволокли к выходу. Дорогу им преградила звереющая толпа.

– Бей сатанаилку! – закричал кто-то. – Бей ее, суку, в кровь! Непременно ей надо кровя пустить!

– Прочь! – испуганно орали городовые, махая саблями. – Назад! Не сметь!

На паперти началась свалка. Избитую в кровь женщину полицейские выволокли за церковную ограду и, словно огромную куклу, за руки потащили в участок. В храме отец Иоанн призывал к порядку.

– Уймись, несчастные! – увещевал он, пряча за спину окровавленный палец. – Помните, где вы находитесь!

Голос его подействовал. Толпа успокоилась.

– Прости, отец родной! – сказал кто-то.

– Прости, прости! – подхватили другие.

– Надо бы врача позвать, – шепнул отцу Иоанну ключарь. – Может быть, эта баба бешеная, заразная какая-нибудь.

Отец Иоанн попросил ключаря занять его место...

– Что это было? – с ужасом спрашивала Вирского Надежда Павловна. Она не помнила, как очутилась на мосту Обводного канала. Она понимала только, что Вирский спас ее от какого-то ужаса, и была ему благодарна.

– Это *иоаннитка*, – спокойно объяснял Вирский. – Престраннейшая секта! Они считают Кронштадтского Иисусом Христом и жаждут причаститься его крови. Батюшка стал жертвой своей популярности и русского варварства. Когда-нибудь они его съедят, как туземцы капитана Кука. От великой любви съедят! Такой уж у нас народ! Но как вы здесь оказались? По вам видно, что вы не из Кронштадта. Из этого я делаю вывод, что вы специально приехали *на Кронштадтского*?

– Я из Москвы.

– Вы замужем?

– Да.

– По тому, как неуверенно вы это произнесли, я делаю вывод, что вы несчастливы с мужем. Иначе не приехали бы в Кронштадт одна.

– Это мое личное дело!

– Ответ, достойный женщины двадцатого века, – похвалил ее Вирский. – Но тогда зачем вы приехали *на Кронштадтского*?

– А вы?

– Разумеется, – коротко отвечал Вирский. – И я здесь не в первый раз. Я человек неверующий. Или, вернее сказать, верующий, но не так, как принято. Но таинство евхаристии сильно занимает меня! Скажите, вы верите, что вино с булочками после известных манипуляций чудесным образом превращается в плоть и кровь Христа?

– Не знаю, – призналась Надежда Павловна. – Я никогда не думала об этом.

– Но ведь в этом вся соль церковности! Если превращения не происходит, значит, Толстой прав. Вы читали его «Воскресение»?

– Да, муж давал мне эту книгу.

– Ваш муж – просвещенный человек. Но лично я считаю, что Толстой ошибается. Я не верю ни в один церковный обряд, кроме евхаристии!

– В таком случае почему вы сами не пошли к причастию?

– Как?! – заволокнулся Вирский. – Разве вы не читали апостола Павла? Причастие без веры, с дурными мыслями может очень навредить! От этого болеют и даже умирают! Как вы думаете, сколько людей из толпы сегодня причастились? И сколько проглотили хлеб и вино без всякой веры?

– Как я могу это знать?

– На это вам даны зрение и ум.

– Вы хотите сказать...

– Да! – таинственно прошептал Вирский. – Только один человек из этого стада общился тайны крови. Это *иоаннитка*. Наш батюшка знает об этом и очень сердится. Она обманула его, как жреца. О, Кронштадтский – настоящий жрец! Может быть, последний истинный жрец в истории христианской церкви. И он единственный, кто ежедневно причащается плоти и крови Христовой. Поэтому и обладает такой мистической мощью. Вы слышали, что он воскресил мужа одной неутешной вдовы?

– И вы верите в это?

– Вы думаете, это слухи? Напрасно! Это был день величайшего торжества отца Иоанна! Разумеется, он сделал это не из жалости к вдове. Он хотел показать свою силу жреца

и чародея! О, если бы вы знали, какая это тяжелая ноша! Как скучно смотреть волшебнику на копошащихся возле его ног людишек! Обманывать их сказочками о спасении. Только одно составляет его истинную радость – ежедневно претворять хлеб и вино в плоть и кровь Христа. Ежедневно! Да!

– Но тогда это... правда? Почему же вы не верите, что этой плоти и крови приобщаются другие люди?

– А я так и не думаю. Есть отдельные особи... Например, юродивые. Но юродивые не опасны для жрецов. Они смешны им, как обезьяны смешны человеку разумному. Они не знают механизма мистической власти.

– Власти над кем? – спросила Надя, чувствуя, что этот разговор почему-то увлекает ее.

– На этот вопрос я не могу дать точного ответа. Если бы я знал его, я сейчас говорил бы не с вами, а с Кронштадтским.

– Говорят, непросто добиться его аудиенции...

– Еще бы! Жрец зорко следит, чтобы к нему не допустили никого, кто знает о его подлинной жизни. С другой стороны, он сам нуждается в людях. Он насыщается энергией их веры в него. Да, моя милая, не в Бога, а в него! В Бога ведь никто по-настоящему не верит. Верят либо в себя, либо в священников. Но поверить в себя значит самому быть богом. На это способны немногие.

– И конечно, вы один из них?

– О! Мадам показала свои острые зубки! А они у вас прелестные! Вы читали поэта Блока? «И пусть в угаре страсти грубой он не запомнит сгоряча твои оттиснутые зубы узором страшным вдоль плеча...» Да, вы угадали. Я один из них. Не сочтите за лесть, но и вы из этих немногих. Даже сквозь вуаль я вижу на вашем хорошеньком личике роковую печать.

Незаметно для Нади они миновали Морской собор, пересекли Обводной канал и уже стояли на набережной рядом с Летней пристанью. Вирский достал старинный брегет. Посмотрел на циферблат и спрятал часы обратно.

«Если он спросит, отчего у меня такое грустное лицо, – подумала Надя, – я скажу ему, что он пошляк».

Но Вирский был рассеян.

– Какая свинцовая вода в заливе, – сказал он задумчиво. – Наверное, такая же была в Стиксе... Через час отходит катер на Петербург. Вы позволите проводить вас? Хотите, я покажу вам современный Петербург? Ведь вы его совсем не знаете. Но за это вы расскажете мне, как вам удалось забронировать номер в гостевом доме при Андреевском соборе.

Через час Надя стояла рядом с Вирским на палубе катера. Как и он, она молча смотрела на холодные волны. Почему-то она уже знала, что погибла. Но ни секунды не жалела об этом. Все ее воображение было захвачено этим странным господином со смеющимися глазами. Напротив, Вирский совсем не думал о своей хорошенькой спутнице. В глазах его отражались не волны. В них тяжело плескалась ледяная зависть. Вирский непрерывно думал об отце Иоанне.

## После бала

Надежда Павловна Недошивина считала себя очень – ну очень несчастной! Это было неизменное состояние ее души, так не совпадавшее с ее физической молодостью и красотой. Точно какой-то злой червь ее точил, не трогая цветущего организма, но глубоко проникая в душу.

Это началось с раннего детства.

– Отчего ты так грустна, Наденька? – первой спросила ее мать, когда девочке было три года. И с тех пор этот вопрос она слышала часто – от родителей и тетюшек, от учителей и гимназических подруг и наконец... от своего мужа. Она свыклась с этим вопросом, как с неотъемлемой частью своей жизни, и стала задавать его себе сама, мысленно и вслух, утром перед зеркалом, за обедом, в гостях, на загородной прогулке и в объятиях супруга, который ужасно страдал в эти минуты отрешенной задумчивости жены, когда ее лицо угасало, а взгляд устремлялся в никуда. Он объяснял это своим пожилым возрастом и занятостью скучными для молодой красивой женщины делами.

Иван Платонович Недошивин, московский экономист, статистик и почетный сенатор департамента герольдии, без памяти любил жену и был старше ее почти на сорок лет. Он принадлежал к тем людям девяностых годов, у которых *красные* общественные идеи замечательно сочетались с алым сенаторским мундиром, расшитым золотыми галунами. На службе он мог грозно прикрикнуть на подчиненного, но уже через час обсуждал с ним «Исторические письма» Петра Лаврова. В молодые годы он много поколесил по России и не без гордости считал себя знатоком ее. Но гораздо привычнее, чем в поезде или в коляске, он чувствовал себя в халате в кабинете огромной, демократично обставленной квартиры на Тверской, куда, приезжая в Москву, по-приятельски заходили писатель Короленко и критик Михайловский, адвокат Кони и остроумный князь Урусов.

Последний в присутствии Государя однажды пошутил, что сенатор Недошивин представляет собой редкий пример *виртуоза добродетели*. У других эта дама скучна и неприятна, как старая дева, но у Ивана Платоновича она соблазнительна, как порок.

– Недурно сказано! – улыбнулся Государь. – Но скажите: отчего так грустна его жена? Я заметил ее на приеме в честь наследника – какое у нее прекрасное и печальное лицо! Будь моя воля, я бы запретил нашим старичкам жениться на молоденьких!

«Какое прекрасное и печальное лицо!» – именно это сказал себе Недошивин, когда впервые увидел Наденьку на выпускном вечере в женской гимназии, куда Ивана Платоновича пригласили как члена попечительского совета Московского учебного округа.

Все выпускницы были одеты в вишневые платья, с рукавами в три четверти, из которых так еще по-детски невинно и незащитно торчали бледные девичьи предплечья. Бальные платья – ах! ах! увы! увы! – были недостаточной длины, чтобы сойти за настоящие *бальные*. Но руки вчерашних школьниц по локоть обтягивали белые лайковые перчатки, а волосы их были собраны наверх короной, совсем как у настоящих *ladies*.

Эта прелестная и, конечно, загодя и не раз горячо обсуждавшаяся бальная униформа смотрелась особенно трогательной потому, что была прощальной. Так и казалось, что сейчас девочки бросят своих кавалеров, откомандированных на бал из Александровского пехотного училища и от смущения поминутно убегающих в швейцарскую покурить, соберутся в свой круг и тихой песней проводят последний день детства, которое еще вчера казалось несносно затянувшимся, а вот теперь его почему-то ужасно жаль!

Впрочем, такие глупые фантазии возникали только в головах пожилых гостей, сидевших на стульях в импровизированных зрительских рядах. В центре зала было весело! Вальсирующие пары грациозно скользили в два и три такта по навощенному до блеска паркету.

Духовой городской оркестр был в ударе! Даже старички невольно притопывали ножками и покачивали плечиками в ритмах Глинки и Штрауса и *вспоминали минувшие дни*.

Опекать сенатора поручили пожилой классной даме, немке с перепудренным лицом и ярко подведенными губами. Она взялась за дело обстоятельно и надоела ему смертельно. К тому же его злила мысль, что новый директор гимназии отрядил ухаживать за ним именно ее, видимо, решив, что она наиболее соответствует его возрасту и характеру. Это не только тяготило его как мужчину, но и возмущало его демократизм.

«Ну почему? – спрашивал себя Недошивин. – Почему мы не можем быть свободными даже в мелочах? Ведь я вижу, что этой старой калоше нехорошо, тягостно со мной. Да она просто боится меня, такого важного чиновника, перед которым трепещет ее начальник. Она ждет не дождетя конца, терзаясь от страха, что делает что-то не так, и действительно делает всё не так! Как ужасно она шла под руку, точно я мебель передвигал! Ну зачем это ей и мне? Это бесчеловечно, в конце концов!»

Иван Платонович почему-то верил, что молодые люди в центре зала понимают его и сочувствуют. Сенатор не шутя подумывал: а не выкинуть ли фортель? Взять и отправиться под лестницу покурить с юнкерами на глазах изумленного швейцара. Потом вызвать официанта из столовой: «Принеси-ка нам, братец, по рюмашке и чего-нибудь закусить». И – хлопнуть водки с молодежью тайком от старшего офицера. Ах, как это сладко, именно тайком! Сколько будет в училище пересудов: водку! с сенатором! под лестницей!

Его взгляд остановился на Наденьке. Она танцевала с высоким статным юнкером и выделялась среди выпускниц не только печальным лицом, но длинным ростом и слишком развитыми для ее возраста женскими формами. Тесное платье делало ее дылдой, гадким утенком, но оно же придавало ее фигуре что-то неприлично обворожительное. Казалось, грусть на ее ангельском личике происходит от разлада души и тела. Тело смеялось над душой. Душа стеснялась тела. Казалось, этой девочке неуютно в самой себе, и она страдает от этого тем больше, что без подсказки опытного человека не может понять причины своего страдания. Но главное – она не знает, какой страшной властью она обладает над этими опытными людьми!

Иван Платонович ощутил в себе незнакомый прилив жалости и нежности. Но вместе с тем он понял, что в нем появилось нечто скверное, *декадентское*. Как будто внутри кто-то напакостил. И вот ему придется носить в себе *это* и лгать в глаза людям, по-прежнему изображая из себя приличного человека.

Недошивин так испугался, что побледнел. Классная дама заметила это и, проследив глазами сенаторский взгляд, шепнула:

– Надежда Аренская, наша лучшая выпускница!

– О ком вы? – невинно-лживым голосом спросил Недошивин.

– О той девушке, что вальсирует с офицером. Вы на нее изволили обратить внимание, ваше превосходительство?

– Да, вы правы. У нее такой печальный взгляд. Ее кавалер, похоже, совсем растерялся.

– Вы находите? – всполошилась дама. – После танца я сделаю ей замечание!

«Черт бы тебя побрал!» – подумал Недошивин.

– Не стоит! – сказал он вслух. – В такой-то день! Мадемуазель просто задумалась о чем-то. Или – хе-хе! – о ком-то. Бывает!

– Она всегда такая, ваше превосходительство, – раздался скрипучий мужской голос.

Недошивин с дамой обернулись. Господин пожилых лет с надменным лицом подслушивал их разговор с немкой.

– Позвольте представиться, – без смущения сказал он. – Игнатий Федорович Огарков. Преподаю латынь и греческий в сём заведении. Заинтересовавшую вас особу знаю с младых ногтей-с. Не могу пожаловаться на поведение и прилежание. Да-с! Девица неглупая и

даже слишком развитая для своих лет. Что касается ее печального вида, то *ut ridentibus, ita flentibus*, как писал Гораций. Смех и слезы привлекательны одинаково. Вы не находите, ваше превосходительство?

– Игнатий Федорович! – вспыхнула классная дама. – Я полагаю, Ивану Платоновичу это неинтересно знать.

– Отчего же-с? – возразил Огарков. – Мне как раз показалось...

Иван Платонович чувствовал, что краснеет. Он уже ненавидел этого Огаркова и оценил деликатность немки. Между тем его мучитель продолжал:

– Смею добавить, что грусть мадемуазель Аренской имеет истоком не только ее возвышенные качества. Если бы вы, ваше превосходительство, имели несчастье знать ее отца...

– Игнатий Федорович! – взвизгнула классная дама.

– Да что вы меня все время перебиваете! – обиделся Огарков. – Можно подумать, в попечительском совете не знают, что учитель географии Павел Фомич Аренский безобразно пьет! Тоже мне нашли секреты!

Весьма кстати закончились танцы, и всех торжественно пригласили на ужин. Недошивин предложил немке руку с искренней любезностью, от которой та просияла. Огарков увязался за ними.

Надя Аренская сидела в дальнем конце стола с бокалом лимонада в руке и рассеянно пила из него по глоточку. По-видимому, она совсем не слушала своего юнкера, что-то непрерывно говорившего ей с очень серьезным лицом. Говоря с Надей, он постоянно теребил усики левой рукой, и это не понравилось сенатору. «Будто выщипать их хочет!» – неприятно подумал он. Но тут же ему стало стыдно. Он понял, что вовсе не этот мальчишка, недавно произведенный в офицеры, а он, пятидесятичетырехлетний чиновник, нелеп и смешон своей ревностью и завистью, с которыми он смотрит на кавалера этой девочки.

Иван Платонович ужасно разозлился на себя! К тому же он вспомнил отца Наденьки...

Невысокий седовласый человек с благородными, болезненно истонченными чертами лица, еще не оправившийся после запоя, стоял перед попечительским советом и страдальчески смотрел вниз. На него орал – да, орал, а не кричал! – господин попечитель, человек прямой и грубый. Потом учителя попросили выйти и ждать решения своей судьбы. Тогда-то Иван Платонович и произнес одну из своих лучших речей о бедственном положении гимназических учителей и о том, что высокие идеалы, которые выносятся из университетских стен, разбиваются вдребезги о вопиющие недостатки *толстовской* реформы образования. К концу его выступления господин попечитель засмеялся:

– Вас послушаешь, так мы должны терпеть пьяниц потому, что реформа не удалась!

Недошивин напомнил о смерти жены Аренского.

– Бог с вами! – вздохнул попечитель. – По совести, мне жаль Аренского. Человек он недурной и учитель хороший, хотя для своего положения слишком своенравен. Я знал его жену, она одна держала его в руках. Жалко девчонку! У нее такое печальное лицо!

Когда члены совета расходились, Аренский подошел к Недошивину и пожал ему руку. Ладонь его была потной, рука дрожала, но глаза смотрели на сенатора прямо и насмешливо.

– Не пейте! – попросил его Недошивин. – Ваше горе не искупит поломанной жизни вашей дочери.

– Не обещаю, ваше превосходительство, – отвечал Павел Фомич, и в глазах его вспыхнул голодный огонек. – Не обещаю даже, что сию минуту не пойду в ближайший трактир и не напьюсь в дым-с.

Недошивин покачал головой. Расстались они холодно. И сейчас, найдя глазами Аренского за столом, Иван Платонович натолкнулся на тот же холодный взгляд. Павел Фомич был трезв, чисто выбрит и недавно постригся. Костюм старого фасона сидел на нем не без

изящества, а манжеты и воротничок были накрахмалены и выглажены заботливой рукой. На всем облике Павла Фомича была печать женской заботы.

– Амалия Людвиговна, – обратился Недошивин к немке, – этот господин... как, бишь, его, Огарков... Тот, который цитировал Горація. Он что-то сказал о пьянстве отца той девушки. Он и в самом деле пьет?

– Павел Фомич – добрый и благородный человек, – поджав губы, отвечала немка. – Очень странно, что вы не вспомнили его. Ведь вы помогли ему однажды... И он этого не забыл, ценит и чувствует себя вам обязанным. Но никогда не признается в этом. Такой гордец и упрямец!

После ужина Недошивин долго курил на крыльце с новым директором гимназии. Аренский появился в сопровождении Наденьки и швейцара, державшего его под руки. Павел Фомич был чудовищно пьян! При его появлении директор посерел от злости. Павел Фомич раскланялся с ним учтиво, но слишком подчеркнуто, не без пародийности. На Недошивина он взглянул надменно... И вдруг, подпрыгнув и опершись на сильные руки швейцара, сделал в воздухе *антраша*. Поступок был так нехорош, что учитель сам немедленно его устыдился. Швейцар взгромоздил его в подъехавшую коляску. Недошивин мрачно слушал извинения директора, не понимая ни слова и зная только, что оказался участником безобразнейшей сцены, которая является началом его новой жизни.

Этой ночью он долго не мог уснуть. Прежде он почти не знал мук бессонницы, считал ее уделом людей праздных. На столе в кабинете, куда после смерти жены Недошивин окончательно переселился, лежала его рукопись «Об экономических основах отношений крестьян к землевладельцам и недостатках земской судебной реформы». Книга была заказана издательством Вольфа, и о ней уже ходили слухи в правительственных кругах. Недошивин знал, что после ее выхода о ней напишут все московские и петербургские газеты и его репутация *красного сенатора* упрочится.

Несколько раз он подходил к столу, но взяться за рукопись себе не позволил. Не в его принципах было писать по ночам. Иван Платонович очень любил повторять мысль Льва Толстого, что пишущий по ночам освобождает себя от моральной ответственности.

Под утро он провалился в кошмарный сон...

Новый храм, еще не освященный. Внутри прибрано, но службы не ведутся. И вот Недошивин сердится на такую непрактичность и решает служить сам. Он стоит на клиросе за амвоном. Перед ним многотысячная толпа, которая напоминает паюсную икру. Нараспев, по-церковному, сенатор читает заглавие своей рукописи:

– Об экономи-и-и-чески-их осно-о-вах отноше-е-ний...

«Что я делаю?» – пугается он. Но пугает его не то, что чтение научной рукописи в церкви – это кощунство, а что рукопись только начата и он не знает ее продолжения. Нужно сочинять на ходу, а вдруг он собьется? И тогда все поймут, что он самозванец.

– Недоста-а-тки суде-е-бной... рефо-о-рмы...

Пугает еще и то, что среди прихожан нет знакомых лиц. Только в задних рядах кто-то кажется смутно знакомым. Присмотревшись, он узнает Аренского. Учитель одет необычно – в черный плащ с белым подбоем. Он похож на Монте-Кристо. Лицо белое, точно мелом обсыпанное. Глаза впелись в Недошивина неотрывно, с жуткой ненавистью. «Он что-то знает о нас с Наденькой!» – понимает Иван Платонович. Но что именно? Ведь ничего не было?

Рукопись закончилась. Он начинает читать проповедь.

– Дорогие братья и сестры! – говорит он и чувствует, что страшно фальшивит. – Возлюбите друг друга! Не сотворите зла!

Ему становится стыдно, как подростку, обмочившемуся на глазах детворы. Но останавливаться нельзя, ибо тогда случится самое страшное.

– Молчи, бес! – обрывает его громоподобный голос Аренского. – И вы, братья и сестры, не слушайте его! Он не знает, что такое любовь! Только похоть влечет его! Он погубил свою жену, дочь священника, который скончался от горя!

«Зачем он врет?» – сердится Недошивин. Его тесть жив! Он хочет возразить, но вспоминает, что ни разу не видел тестя после похорон жены.

– Этот развратник, – продолжает его обличитель, – совратил и погубил мою дочь! Мое единственное чадо и радость всей моей жизни!

– Это ложь! – кричит Недошивин. – Пусть сюда придет Надя и скажет вам, что он лжет!

– Она здесь, сатана!

С остановившимся сердцем Иван Платонович видит, как Аренский поднимает над толпой на вытянутой руке, как на блюде, окровавленную голову Нади. Он сразу узнает ее, потому что волосы на голове собраны *коронной*. Вдруг сенатор замечает, что голова жива. Она обольстительно улыбается ему красными, как у классной дамы, губами. Но за ними нет зубов. Только черный, дымящийся рот.

– Держи, ирод! – кричит учитель и хохочет. Он швыряет голову в Недошивина. Она не долетает до цели, падает в толпу. Люди смеются, подбрасывают ее. Голова летает по храму, как мяч.

Недошивин проснулся.

Было солнечное утро.

Во дворе мальчишки с глухим стуком гоняли мяч.

Раздался звонок. Облачаясь в халат, Недошивин вспомнил, что нынче воскресенье и он, по своему обыкновению, отпустил прислугу на весь день. Придется самому открывать дверь. В мягких тапочках он выбежал в прихожую. На пороге стояла Наденька.

## Отец предлагает свою дочь

Все было так стремительно...

Ах, если бы кто-то спросил Наденьку: что она делает? Зачем назвалась незнакомому мужчине девичьей фамилией? Неужели только потому, что стеснялась своего известного, но пожилого мужа? И как она могла позволить увезти себя из порта? Как она могла?!

Но и если бы Надю спросили, зачем четыре года назад она дала согласие на брак с Недошивиным, которого не любила, которого даже не уважала, чувствуя, какие темные страсти она возбуждает в этом старичке, зачем притворялась в постели в ответ на его страсть, которой он сам же потом стыдился? И наконец, если всё это было так, почему она так желала иметь от него ребенка и рисовала в голове туманный образ святого семейства? Ведь она понимала, что никакой святостью тут не пахнет. Была старческая похоть с одной стороны и равнодушный расчет – с другой. Но тогда для чего она отправилась в Кронштадт, надеясь на помощь всенародного батюшки? И на это Надежда Павловна тоже не смогла бы ответить...

Вот так же, как сегодня Вирский, в тот роковой день вез ее на извозчике Недошивин...

Утром к ним на квартиру приехал директор гимназии, противный, толстый тип, похожий на Чичикова и Собакевича одновременно. Брызжа слюной из дурно пахнувшего рта, он орал, что выгонит Павла Фомича, если тот не придумает какой-нибудь способ загладить перед Недошивиным свой безобразный поступок. Аренский отказался.

– Как! – неискренно возмущался Недошивин. Он слушал сбивчивый рассказ Нади и рассматривал ее всю – всю! всю! – от собранных в тугую косу блестящих каштановых волос до слишком маленьких для ее высокой ноги лакированных ботиночек с калошами, которые он сам помогал ей снять в прихожей. – Как! – говорил он. – Этот негодяй посмел оскорблять вашего отца в вашем присутствии! Да он вылетит у меня из гимназии раньше любого учителя!

Недошивин с ужасом понимал, что говорит с девушкой не как почтенный сенатор, а как тот юнкер, что вальсировал с Наденькой на вчерашнем балу. Она это тоже заметила и немножко удивилась. В то же время на ее еще детском личике промелькнуло странное выражение... Казалось, каким-то зарождавшимся женским чутьем она поняла, в чем дело. Поняла и совершенно успокоилась.

– Правильно ли я вас понял, – справившись с собой, произнес Иван Платонович, – что вы пришли просить, чтобы я простил Павла Фомича за вчерашнее? Но мне не за что его прощать, мадемуазель! Англичане в таких случаях говорят: "*It happens*". Со всяким случается.

Наденька радостно вспыхнула.

– Тогда позвольте сказать господину директору, что вы простили папу!

– Нет и еще раз нет! – решительно сказал Недошивин. – Я *не прощаю* его. Прощение означает, что я был оскорблен, но это совсем не так. Я не вижу дурного в том, что счастливый отец слегка... перебрал на торжестве своей единственной дочери.

Она холодно поблагодарила его и встала, чтобы уйти. В ее глазах читались упрек и обида.

– Что-то не так, Надежда Павловна?

– Ах, оставьте! – со слезами воскликнула она. – Вы прекрасно знаете, что директора не устроят ваши слова, да еще и переданные мной! Он ждет папашиного унижения и вашего великодушия. Ведь у вас репутация демократа. Если вы простите пьяного учителя, то на всё остальное в нашей школе будете смотреть сквозь пальцы. Вот чего ждет от вас директор. А вы умываете руки. Что ж, это ваше право. Вы не обязаны второй раз снисходить к папе.

Недошивин не ожидал встретить в этой девочке такое психологическое чутье. Она угадала в нем самое тайное и слабое место. В самом деле, он не желал ввязываться в эту глупую историю. По крайней мере, не желал этого ради одного Аренского, который теперь вызывал в нем только раздражение.

– Постойте! – решительно сказал он. – Мы вот как поступим! Мы немедленно отправимся к Павлу Фомичу и объяснимся с ним начистоту. Ну а с директором я буду иметь отдельный разговор!

На этот раз смутилась она...

– Вы пойдете к папе? Но он в таком состоянии... А вдруг... Боже, что я говорю! Вдруг папаша... не захочет вас принять?

– Ерунда! – засмеялся Недошивин, снова чувствуя себя в своей тарелке. – В таком случае считайте, что в гости меня пригласили вы!

Аренские жили на Сухаревке. Взяв извозчика, они с Наденькой обогнули Страстной монастырь и пересекли Неглинную. Навстречу, шатаясь, шли два подвыпивших господина. Когда коляска поравнялась с ними, один из них бросил мутный взгляд на сенатора и грязно выругался.

– Видал миндал! Старикашечка девочку в номера повез! Не рановато ли ей, отец?

Недошивин пришел в бешенство. Он хотел прыгнуть с коляски и поколотить мерзавца, но почувствовал, как тяжелая ладонь девушки уверенно легла на его колено. Его ноги точно косой скосило. Он опустился на скамью и долго боялся взглянуть не только на девушку, но и на свое колено, которого коснулась ее ладонь. Тогда Недошивин окончательно понял, что влюбился. Как это глупо! Как это банально!

Дверь открыла женщина лет сорока, в старинном чепце, с грубым мужским лицом и сизой бородавкой на носу. Это была Лукерья Фоминична, старшая сестра и приживалка Павла Фомича.

– Где папа? – тревожно спросила Надя.

Лукерья Фоминична испугалась. Бородавка на носу из сизой стала малиновой.

Павел Фомич возник в дверном проеме как привидение. Увидев его, Надя закрыла лицо руками и, не говоря ни слова, бросилась в свою комнату. Аренский был вызывающе пьян. Ноги едва держали его. Редкие седые волосы на затылке были смешно всклокочены, а на синюшном лице пунцовели глубокие порезы от бритвы. Он был похож на вставшего из гроба и уже несвежего покойника. И по всей квартире стоял покойнический, тошнотворный запах. Скрестив на груди руки, учитель безумно взирал на гостя.

– Здравс-се... вашес-ство! – пробормотал он с улыбкой.

– Папа! – рыдая, прокричала из своей комнаты Надя. – Ведь ты мне поклялся!

– Молчи, дочь моя! – внятно произнес Аренский. – Молчи! И... прости!

Бочком подскочив к гостю, он зашептал ему в ухо:

– Бедная! Хотела нас помирить-с! Но я не держу на вас зла. Впрочем, я зарпортовался. Кажется, это вы на меня сердитесь. Господин директор говорил что-то о сатисфакции. Извольте, я готов-с! Вот вам рука дворянина!

– Вы бредите! – сказал Недошивин, с отвращением отворачиваясь.

– Брежу! Вы правы, ваше сиятельство! А все потому, что раздавлен и уничтожен! Верить ли глазам моим? Кто стоит предо мной? Юпитер, громовержец! И где? В этом убогом жилище с тараканами... да-с! Тараканами и клопами-с! Вы, может быть, не знаете, ваше-с-ство, что такое клопы? Это такие ужасно мелкие насекомые. Но они пребольно кусаются по ночам. Они сосут человечью кровь-с! И даже моей дочери! Вообразите: нежное тело, еще горячее после сна, а нем клопы! Десятки омерзительных кровососов... Старуха! – крикнул он сестре. – Отдай ключи от буфета!

Ворча себе под нос, Лукерья Фоминична дала ему ключи.

– Возьми, батюшка! А и ты не больно молоденок! Она, волос на голове не осталось. Только что водочку пьешь, как молоденький...

Схватив ключи, Павел Фомич направился к буфету. Со страдальческой миной на лице он выпил подряд три рюмки водки и, вернувшись к сенатору, заговорил с ним уже без прежней фамильярности. Недошивин отказался от чая, но сел и закурил, дожидаясь, пока Аренский выпьет горячего кофе. Семья учителя жила тесно, в трех небольших комнатах. Но в квартире было чисто и уютно. Если бы не несчастная болезнь Павла Фомича, можно было бы говорить об относительном благополучии этой семьи. Гимназического жалованья хватало и на проживание, и на ежегодную аренду загородного дома. Павел Фомич запил после смерти жены. И с тех пор запивал часто, впадая или в тупое бессилие, или в беспричинную ярость. В такие дни одна Надя имела над отцом некоторую власть.

– Ваша дочь рассказала мне о визите директора, – без обиняков начал разговор сенатор. – По моему первому впечатлению от него, это не самое удачное новое назначение.

Павел Фомич посмотрел на него с благодарностью.

– Надеюсь, этот разговор останется между нами, – продолжал Недошивин. – Не потому, что я боюсь говорить человеку правду в лицо. Но нельзя доверять первым впечатлениям. Однако, согласитесь, он вправе требовать от вас известных норм приличия в отношении к вышестоящим чиновникам вроде меня. Будем откровенны, Павел Фомич! Пьянство самый распространенный порок среди учителей. Но до тех пор, покуда это не мешает исполнению их обязанностей, никто не имеет права требовать от человека отказаться от вредной привычки. Никто... кроме его домашних. Павел Фомич, дорогой! У вас взрослая дочь! Какая это умная, чистая, добрая душа! Пожалейте ее! Откажитесь от проклятой водки! В конце концов, лечитесь!

– Надежда! – крикнул Павел Фомич. – Подите с Лукерьей, погуляйте! Нам с Иваном Платоновичем нужно поговорить наедине.

Когда женщины ушли, учитель вскочил и стал ходить по комнате.

– Меньше всего я боюсь потерять свое место, – наконец сказал он.

– Ну вот! – вздохнул Недошивин. – Вы опять гордитесь...

– Не то, не то! Месяц назад доктора подписали мне смертный приговор. Мне осталось совсем недолго.

– Так нужно идти к другим докторам! – потрясенно воскликнул Недошивин.

Аренский тяжело опустился на стул. Только сейчас Иван Платонович заметил, как болезненно истончилось лицо учителя с момента их первой встречи.

– Вы были прямодушны со мной, Иван Платонович. Позвольте и мне без обиняков. Больше всего на свете меня беспокоит судьба Наденьки. Это единственное существо, которое удерживает меня на этом свете. Нет, смерти я не боюсь! Я боюсь нищеты для своей дочери! И потому спрашиваю вас прямо, как мужчина мужчину. Вы... любите мою дочь? Не отвечайте сразу! Но только знайте, что если вы ее любите... Словом... Знайте, это лучшее, на что я мог бы надеяться. Да, черт вас возьми! Да, я, несчастный отец, предлагаю вам свою дочь в жены!

– Вы с ума сошли! – пробормотал Недошивин, чувствуя при этом, как радостно колотится его сердце.

– Простите... И за мой глупый танец на крыльце, и за мое постыдное предложение. Простите... И... это всё...

Несколько секунд они молчали. Недошивин пытался понять: в каком состоянии пребывает этот человек? Что если это белая горячка? Предположим, он сознается в любви к его дочери, а в ответ получит новый пьяный бред. А если не сознается? Сейчас он с последней ясностью понимал, что не сможет прожить без Нади и дня. Так не лучше ли закрыть глаза

и прыгнуть в омут, чем ходить по краю обрыва, не в силах оторвать взгляд от черной, но такой манящей глубины?

– Да, я люблю вашу дочь, – твердо сказал он.

Павел Фомич вспыхнул. Щеки его зажглись румянцем, а протянутая рука дрожала так сильно, что Недошивину пришлось ее ловить.

– Я был уверен в этом! Я заметил вчера, какими глазами вы смотрели на Наденьку. Это ничего, что вы старше! Я нынче же поговорю с ней! Ах, какая она умница! Вся – в покойницу мать! Вы еще оцените ее.

– Уже оценил, – сухо сказал Недошивин. Самообладание вернулось к нему. – Не нужно ничего говорить. Я сам объяснюсь с Надеждой Павловной и сделаю это тогда, когда сочту нужным и своевременным. А вы немедленно в Висбаден.

– Как скажете, благодетель, – неприятно заюлил Павел Фомич. Казалось, если бы был он собачкой, он замахал бы хвостиком. – Хоть в Висбаден, хоть к черту на рога! И пить брошу! Сегодня же!

Недошивин помрачнел. Тяжелое чувство овладело им. Немного покалывало сердце, и страшно болела голова.

В Германию они отправились втроем: Надя, Иван Платонович и сильно осунувшийся после недели трезвости Аренский. Очень скоро Надя и Недошивин вернулись в Москву с гробом Аренского. Через год, выдержав траур по отцу, Наденька стала женой Ивана Платоновича...

## Падение

Все произошло так стремительно...

– Аренская? – недоверчиво переспросил ее Вирский на палубе катерка, отходившего от Кронштадта. – Знакомая фамилия! Дайте-ка вспомнить... Ну конечно! Учитель географии Павел Фомич Аренский! Когда-то он брал у меня уроки спиритизма. Мечтал пообщаться со своей покойной женой. Я слышал, что его дочь стала женой знаменитого сенатора Недошивина.

– Это другая Аренская, – запутавшись в безнадежном вранье, возразила Надя.

Вирский посмотрел на нее с сомнением и интересом. Лицо Нади пылало. Схватившись за поручни, как утопающий за соломинку, она впиалась глазами в свинцовые волны и смотрела на них долго, не моргая, словно хотела остудить в них горящий от стыда взгляд.

Потом, когда непоправимое случилось, она старалась убедить себя, что истинной причиной ее падения является Иван Платонович. Он и был, сам того не подозревая, настоящим змием-искусителем. Вирский явился уже на готовое. Ей не следовало выходить замуж за пожилого человека! Нужно было еще тогда, в Висбадене, объясниться с отцом, когда он, непрерывно кашляя, старался улизнуть от них под любым предлогом, оставить ее наедине с женихом, который смущался и не знал, о чем говорить. Отец гаденько подмигивал им и хихикал с довольным видом. Он словно продавал свою дочь. О да, он желал ей счастья! Он боялся за ее будущее! Боялся, что ей придется много и тяжело работать.

Боже, какую она сделала глупость! Но все-таки она хотела иметь от него ребенка. Да, хотела! Но его-то как раз и не было.

Однажды в их квартире появилась сестра Ивана Платоновича из Петербурга. Она жила у них неделю и все это время обучала Наденьку, как ей вести себя с пожилым супругом, а брата – как не наскучить молодой жене. В конце концов, посоветовавшись с Надеждой, Недошивин намекнул сестре, что ее визит затянулся, посадил на поезд и отправил домой. Но перед отъездом она успела сказать Наде то единственное, к чему она всерьез прислушалась.

– Поезжай к Иоанну Кронштадтскому. Только он тебе поможет!

Легенды о Кронштадтском достигали ее слуха и раньше. В отличие от мужа Надя была верующей. Она исправно посещала церковь, молилась перед сном и демонстративно закрывала уши, когда Иван Платонович позволял себе в ее присутствии насмешливо отзываться о церковниках. Слова сестры Недошивина взволновали ее, и она решила встретиться с Кронштадтским и поговорить с ним. Сестра Недошивина обещала свое содействие. Иван Платонович сердился, но тоже обещал помочь.

– Знаю я этого всероссийского батюшку! – иронически говорил он. – Корчит из себя святошу, а сам падок на влиятельных людей и никогда не отказывает им в личной встрече. Я уже телеграфировал кому следует. Можешь быть уверена, в Кронштадте тебя встретят. Но прости, дорогая, я с тобой не поеду. Это выше моих нравственных сил!

И вот вместо беседы с исповедником она мчится по Невскому в шикарном автомобиле с опасным незнакомцем в какое-то артистическое *café* и злится на то, что их *chauffeur* в клетчатом кепи и желтых крагах часто оглядывается на нее и, отвечая по-английски, нахально скалит свои белые зубы.

Все вышло как-то само собой. Она почти уговорила мужа поехать с ней в Кронштадт, но перед самым отъездом покладистый Недошивин вдруг решительно заупрямился. Впервые за время супружества они поругались. Она поехала в Петербург одна. Как назло, в день ее приезда случился приступ мигрени у сестры Недошивина. Надю встретил на вокзале ее приказчик из магазина модных шляп. Он всё время конфузился и на все вопросы отвечал *весьма приятно-с и премного благодарны-с*. Золовка просила ее подождать, не ехать в Крон-

штадт одной. Но стояла поздняя осень, погода быстро портилась, и сообщение с крепостью могло прерваться до зимы.

И вот эта мерзкая сцена в соборе! Окровавленный палец. Растерзанная женщина. Вирский, возможно, спас ей жизнь. Если бы она упала в обморок прямо в соборе, ее затоптали бы. Интересно представить, какими глазами смотрел бы Иван Платонович на ее изувеченное и бездыханное тело? Нет, он не смеет ее осуждать! Не хотелось молодой красивой женщине провести время до поезда с больной родственницей ее мужа, чтобы ей *подушки поправлять, печально подносить лекарство*.

Вирский вел себя как *gentleman*. Не то что Недошивин, который бросил ее на произвол судьбы. Вирский не навязывался на интимное знакомство. Он был, пожалуй, насмешлив. Но он был предупредителен. Его поведение как бы говорило: сударыня, если *вам* угодно, я в вашем распоряжении! Но если *вы* этого не хотите, я не испытываю ни малейшего желания на этом настаивать. Это поведение задевало Наденьку, тревожило ее любопытство. Понимает ли он, как она хороша собой? Или она уже не так хороша собой?

Вирский предложил ей прокатиться в сверкающем «роллс-ройсе», на котором его встретил в порту друг-англичанин. Сначала он пригласил ее осмотреть это чудо английской автомобильной промышленности. И уже потом, заметив в ее глазах восхищение, незаметно приоткрыл стальную дверцу: «Не угодно ли сесть? Кстати, где живет ваша родственница? На Миллионной? Зачем тратиться на извозчика? Эти каналы сдерут с вас втридорога, пользуясь тем, что вы без мужчины».

И она согласилась. Только до Миллионной. Но когда они помчались по городу, распушивая клаксоном собак и зевая и собирая ватаги оглушительно свистевших мальчишек, она потеряла контроль на собой. Ей стало ужасно весело! Она опомнилась в кафе, где швейцар, принимая из рук Вирского ее шубку, иронически ей поклонился. На миг перед ее взором предстал Недошивин в халате и тюркской шапочке, в которой он ходил дома, говоря, что она помогает собрать мысли в одной точке, и которую порой забывал снять в постели, и это делала за него Надя.

Кажется, они пили шампанское. Да, пили много шампанского. Потом она объелась клубничным мороженым из серебряного ведерка. Вирский непрерывно шутил, и шутки его становились все более развязными. Он словно испытывал ее: когда она возмутится? Понимая это, она вела свою, как ей казалось, очень коварную игру. Когда он решит, что все можно, она остудит его одним взглядом, одним словом, одним небрежным движением руки.

Потом он достал из кармана стальную табакерку, но вместо табака насыпал на стол белый порошок и разделил его надвое ножом. Свернув листок бумаги трубочкой, он поднес один ее конец к ноздре, второй – к порошку и осторожно вдохнул. Он проделал это уверенно и стильно, совсем не так, как нюхал табак ее покойный отец. Наденьке стало любопытно. «Что это?» – спросила она. «Это кокаин», – ответил Вирский. «Можно попробовать?» – «Можно, но не стоит». – «Почему? Я этого хочу». – «В таком случае – извольте, но я предупредил».

Сначала у нее ничего не получалось. Она не вдохнула, а выдохнула и распылила дорогой порошок в воздухе. Но через несколько минут она научилась нюхать кокаин. Вскоре она обнаружила себя громко и неприлично хохочущей. Так смеялись пьяные проститутки на Грачевке. И так же смеялся ее отец, когда был сильно пьян. Именно так, визгливо и неприятно, смеялся ее отец, когда в их квартире появился Недошивин.

– У вас прекрасные зубы, – повторил старый комплимент Вирский. – Такими зубами можно перекусывать мужчин пополам, даже не успев почувствовать их вкуса. А вы знаете вкус настоящего мужчины? Его запах? Силу его рук? Его поцелуи...

Ее уже не смущало, что Вирский говорил очевидные скабрёзности. Она пыталась нахмуриться, но против воли расхохоталась.

– Например, ваш муж... Это настоящий мужчина?

– Мой муж! Ха-ха-ха!

Она представила, как перекусывает Ивана Платоновича пополам. Хрум! И он исчезает в ней, со всем его авторитетом, умными мыслями, со всеми его написанными и еще не написанными научными книгами. Хрум! Хрр! Хрр! Ха-ха-ха!

– Предложите мне еще вашего порошка, Вирский!

Вирский отвел ее руку в сторону, указав взглядом на центр зала, где выступал молодой поэт, огромного роста, с лошадиным лицом, одетый в малиновый балахон. Он читал стихи о каком-то господине, который *разговаривал басом, в небеса запустил ананасом*.

Когда он кончил читать, к нему подскочил старик со съехавшим на висок пенсне, почему-то напомнивший Наденьке Ивана Платоновича. Он стал яростно жать поэту руку. Восторженно кричал, брызжа слюной:

– Гений! Это – не поэзия! Это – разъятая стихия!

Поэт вдруг набычился, побагровел, назвал своего поклонника скотиной и смачно плюнул в него, угодив в стеклышко пенсне.

– А-а! У-у!

Подбежал молодой человек:

– Вы не смеете обижать моего папашу! Извинитесь!

– Это ваш папаша?

– Да!

– В таком случае – поздравляю вас. Вы тоже скотина!

– ?!!

– От скотов рождаются только скоты!

– Сам ты скотина! – завопил молодой человек.

В потасовке приняли участие несколько человек из публики. В основном били молодого человека. Его отец стоял рядом и грозил полицией. Наконец отца и сына выставили за дверь. Поэт отправился к ближайшему столику, где сидел господин с двумя дамами, и нарочитым басом потребовал себе водки. Водку тотчас подали. Он выпил ее залпом и со зверским лицом стал жевать тонкое рюмочное стекло, кровавая рот и капая кровью на подол платья одной из дам. Дама завизжала. Неожиданно откуда-то появился избитый молодой человек. Он был в пальто и очень расстроен.

– Во время драки, – жалобно объяснил он, – кто-то стащил из кармана моего отца портмоне.

– А-а! У-у!

Кричали, свистели, улюлюкали. Молодой человек убежал, но через минуту снова появился.

– Просим извинения! Портмоне нашлось!

– А-а! У-у!

Наденька больше не смеялась. Ей стало так же страшно, как в соборе. Она умоляюще посмотрела на Вирского и увидела блаженное выражение на его лице, когда он смотрел на окровавленный рот поэта.

*«Таинство евхаристии сильно занимает меня!»*

Больше она ничего не запомнила. Кроме того, что жалко, бездарно, вовсе этого не желая, отдалась Вирскому в «Астории», куда он привез ее обманом, обещав отвезти к родственнице мужа. Она поднялась в его номер покорно и бессловесно, как овца. Наутро она призналась, что является женой сенатора Недошивина. Вирский не удивился и отвез ее к родственнице. Взглянув на обескровленное лицо Нади, золовка все поняла и заплакала...

## Быстро, просто и страшно

– Прости меня, *Ванечка!*

Иван Платонович всхлипнул. Ни разу еще за всю их супружескую жизнь Надя не называла его Ванечкой. В отличие от первой жены она безошибочным чутьем угадала, что уменьшительно-ласкательное обращение для Ивана Платоновича не годится. Она вообще умело избегала искусственности в их отношениях, никогда не забывая о том, что их брак – это мезальянс, скрепленный взаимной клятвой, данной умиравшему отцу. Поэтому он мог позволить себе называть ее Наденькой, она же его только Иваном Платоновичем.

– Прости меня, Ванечка!

– За что?! О Господи!

– Прости...

Надежда Павловна третьи сутки умирала от родовой горячки, в страшных муках разрешившись двойней. Два мальчика лежали в соседней комнате в одной, тесной для них кровати, под присмотром Лукерьи Фоминичны Аренской. Глядя на сладко посапывавших младенчиков, туго спеленатых и одетых в одинаковые кружевные чепчики, Лукерья мелко крестилась и бормотала что-то едва слышно. Глаза ее были испуганными.

Двойняшки родились крупными, под стать отцу с матерью. Оба с живыми и не мутными, а уже пронизательными глазенками, что сильно удивило многое повидавшую на своем веку акушерку. Обыкновенно, приняв плод, акушерка грубо нахваливала роженицу, испытывая при этом и свою гордость за сделанную работу и предвкушая награду и угощение. Но сейчас, рассмотрев новорожденных, она ахнула и мелко закрестилась, забормотала что-то невнятное, как вот нынче Лукерья.

Оба мальчика были прелестны, очаровательны, лучше всех на свете! Но их решительное несходство поразило бы всякого, кто видел бы их рядом с мучительно улыбавшейся матерью.

Оба родились волосатыми. Но один был заметно черен, а второй – белес. У одного на переносице была горбинка, нос второго был приплюснут и вздернут кверху. После рождения оба были красные, точно с них кожу содрали. Но едва их обмыли и вытерли, сейчас же обнаружилось пигментарное несходство кожи, а также формы их крошечных ноготков. У черненького ногти не только на руках, но и на ножках были продолговатые, темно-сизые, как у негра. У беленького – широкие, лопатистые. Каждая деталь сама по себе не играла решающей роли. Но достаточно было просто посмотреть на младенцев, чтобы сказать себе: что-то тут не так! Не могут эти дети принадлежать одним родителям!

– Как они? – спросила Надя после родов.

– Хороши, матушка! – бодрым голосом отвечала акушерка.

– Они... похожи? – догадываясь о чем-то, спросила Надя.

– Да как тебе сказать... – замешкалась акушерка.

– Покажите! – потребовала Надя.

К ее лицу поочередно поднесли мальчиков. Взглянув на них, Надежда Павловна вдруг успокоилась, улыбнулась широко и счастливо и, проваливаясь в глубокий обморок, отчетливо сказала:

– Ивана Платоновича ко мне не пускать!

Этот приказ озадачил Лукерью Фоминичну. Огромных усилий ей стоило объяснить Недошивину, почему он не имеет права войти к супруге. На детей, которых ему вынесли, он взглянул рассеянно и удивленно, никакого различия в них не заметив. Все мысли его были о жене. Он боялся этих родов и вместе с тем ждал с нетерпением – как избавления любимой женщины от грозившей ей смертельной опасности, которая поселилась в ее животе.

Беременность протекала трудно. И вот опасность эта, как он представлял ее себе, миновала. Почему же он не может видеть жену?

– Не велено-с!

– Как не велено-с?! – шипел Иван Платонович, наступая на Лукерью, как рассерженный индюк. – Что ты мелешь, старая?! Она, верно, не это хотела сказать! Может, она вида своего стыдится? Так это ничего! Ты пойді скажи ей, что это пустяки!

– Она не слышит ничего, отец родной. И узнать тебя – не узнает.

– Что-о?!

Недошивина словно током ударило. Он вдруг догадался, что опасность не только не миновала, но именно сейчас с Надей происходит что-то такое, что может закончиться быстро и страшно. Он задрожал.

– Врача!

Отправили за самым дорогим в Москве доктором. Но прежде него неожиданно приехал поздравить Недошивиных Иван Родионович Вирский. Год назад он любезно составил Наде компанию по дороге из Петербурга в Москву и с тех пор часто бывал у Недошивиных, хотя Иван Платонович замечал, что жене этот человек скорее неприятен. С его приходом она вся точно сжималась и уходила в себя. Но отказать Вирскому Иван Платонович не мог, да и не хотел. Вирский был замечательным собеседником, на редкость умным и образованным. Недошивину льстило, что некоторые его, Недошивина, мысли, слишком радикальные, чтобы высказывать их в прямой форме, Вирский не только охотно поддерживал, но и развивал дальше, делая это тонко и деликатно, как бы с благодарностью опираясь на осторожно высказанную сенатором мысль, как на протянутый дружеской рукой посох.

Но сейчас появление Вирского Недошивину не понравилось.

– Как вы узнали?

– Слухами полнится земля! – бодро отвечал Вирский.

– Простите, но вы не вовремя. Надя еще слаба, и мы принять вас не можем.

– Помилуйте, Иван Платонович! Какие церемонии! Я только поздравить! Мальчик или девочка? Позвольте взглянуть!

Недошивин был изумлен. Никогда еще их гость не вел себя так бесцеремонно. Какое-то неприятное предчувствие сдавило его сердце.

– Извольте, – подчеркнуто недовольным голосом сказал он. – Тетушка, проводите Ивана Родионовича!

Не дожидаясь Лукерьи, Вирский устремился в комнату с младенцами. На лице его было что-то хищное.

– Как же так, батюшка! – зашептала Лукерья Фоминична в ухо Недошивину. – Нельзя-с! Чужой человек! Сглазит!

И она побежала за Вирским. Но тот уже стоял над кроватью, рассматривая детей жадным взором.

– Как это интересно! Который из них был первый?

– Что, батюшка? – Лукерья остолбенела от такой наглости.

– Этот? – не давая ей опомниться, спрашивал Вирский, тыкая пальцем в лоб горбоногого.

– Что? – совсем растерялась старуха.

– Что, что? – раздраженно передразнил ее Вирский. – Ведь кто-то из них был первенцем?

Первенцем был курносый.

– О чем вы спорите? – плаксивым голосом спросил Недошивин, входя в комнату.

Осмотрев роженицу, врач заявил, что дело скверно и необходим консилиум. Но трое докторов, недолго посоветовавшись, оставили супругу сенатора заботам всё той же акушерки

и отбыли, заявив Недошивину, что вылечить заражение крови медицина пока не может, но есть надежда на собственные силы крепкого организма больной.

Три дня Иван Платонович жил как в кошмарном сне. Он смутно различал чьи-то лица (несколько раз мелькал Вирский), отвечал на какие-то вопросы и даже жевал что-то безвкусное, но совсем не спал. Он почти не выходил из комнаты, где умирала его жена. Не в силах ей помочь, он напряженно всматривался в ее лицо, пытаясь найти в нем хотя бы малейшие признаки победы жизни над смертью. Признаков не было.

Она постоянно бредила. «Кровь! Великое дело кровь!» – чаще всего кричала она, и Недошивин успокаивал себя тем, что она чувствует причину своего состояния и подсознательно борется с ней. Несколько раз она называла имя отца Иоанна Кронштадтского, а Недошивин в который раз проклинал себя, что отпустил ее тогда в Петербург. Иногда она открывала глаза, смотрела на мужа и умоляла не запирайте ее одну в страшной комнате. Он открывал все двери и говорил, что она совершенно свободна. Глядя на супругов, Лукерья плакала.

На третьи сутки наступил кризис. Надя очнулась и попросила принести детей. Долго она всматривалась в них. На ее лице блуждала странная улыбка.

– Прекрасные малютки, дорогая! – ненатурально похвалил Недошивин.

Она перевела на него удивленный взгляд. Что-то в этом взгляде больно задело его. Он словно говорил: а ты-то здесь при чем, милый?

– Прости меня, Ванечка!

– Да за что? О, Господи!

Наденька попросила позвать священника. Стоявшая рядом Лукерья обрадовалась:

– И то дело, Надюша! Я тут подумала... Батюшка Иоанн нынче в Москве. Не послать ли за ним?

– Кронштадтский? – не удивилась Надя. – Что ж, это хорошо.

Лукерья помчалась в женский монастырь, где остановился Кронштадтский без особой надежды на то, что утомленный тысячами московских поклонников и поклонниц старец откликнется на ее просьбу. Но ей повезло. Она застала Кронштадтского садившимся в коляску для визита.

– Недошивина? – переспросил он Лукерью, будто что-то припоминая. И вдруг погладил старуху по голове. – Ну, милая, залезай, показывай дорогу!

Когда он вместе с Лукерьей вошел в квартиру, прислуга обмерла, пораженная. И сам Недошивин с невольным любопытством смотрел на этого невысокого сухонького старичка со стальными, как ему показалось, глазами. Кронштадтский не проявил к хозяину дома никакого интереса.

– Где умирающая?

– Почему умирающая? – испугался Иван Платонович.

Выдворив всех из комнаты, отец Иоанн уединился с Надей. Этот час показался Недошивину вечностью. Он злился на Лукерью, бросал на нее сердитые взгляды и бормотал что-то о выживших из ума старухах, которым не терпится подтолкнуть живую женщину к могиле. Лукерья Фоминична съеживалась под этими взглядами и вновь выпрямлялась в торжественной позе, с благоговением глядя на дверь, где был Кронштадтский. Наконец он вышел. Казалось, только сейчас он заметил присутствие Ивана Платоновича.

– Здравствуй, сенатор, – сказал он. – Ступайте к своей жене и не оставляйте ее больше. Скоро, уже скоро...

А ты, милая, – обратился он к Лукерье, – согрей-ка водички да прикажи принести из коляски мой сундучок.

– Зачем? – удивленно спросил Недошивин.

– Младенцев ваших крестить буду! – как-то радостно ответил отец Иоанн.

– А-а... сделайте что хотите! – со слезами вскричал Иван Платонович и бросился к жене. Иоанн Кронштадтский успел перекрестить его сгорбившуюся за эти дни спину.

Вбежав к Наденьке, Недошивин остановился, потрясенный. На кровати, сложив руки крестом, лежала прекрасная молодая женщина, которая никак не могла быть его *женой*. В ее внешности было что-то неземное, ангельское. Ее серые глаза, невероятно огромные, приобрели оттенок небесной голубизны. Они словно излучали потусторонний свет. Когда она обратила их на Ивана Платоновича, его прошиб озноб.

– Как ты?

– Мне очень хорошо, милый!

– Он не утомил тебя?

Наденька (это все-таки была она) засмеялась и поманила мужа к себе.

– Как я рад, как рад! – говорил он, целуя ее руки, но не решаясь приблизиться губами к ее лицу. Теперь он мысленно благодарил Кронштадтского. – Знаешь, дорогая, отец Иоанн оказался так добр, что собирается крестить наших малюток! Ведь ты не против?

– Я сама его просила, – отвечала Надя и гладила мужа по голове ледяной рукой. – Я сейчас умру, Ванечка. Но ты не плачь! Это хорошо, что так получилось. Так мне и батюшка сейчас объяснил.

– Ты будешь жить, – тупо возражал Недошивин.

– Я уже говорила с покойным папой, – продолжала Надя. – Он считает, что наша встреча все-таки была счастьем.

– Ты будешь жить, – упрямо твердил Недошивин.

– Ты только люби их, Ванечка! – с беспокойством в голосе попросила она. – Ты их *обоих* люби, слышишь! *Обоих!*

Иван Платонович удивленно поднял голову.

– Они оба *наши*... понимаешь?

– Врача! Скорее! Она бредит!

Через час всё кончилось. Приехавший врач констатировал смерть. Глотая пустые, но почему-то приятные слезы, Недошивин неотрывно смотрел на лицо своей жены, которое уже начинало стягиваться смертной маской.

Долго, очень долго не позволял он никому войти в комнату к покойнице. Потом, когда вслед за Лукерьей с бывшей хозяйкой потянулась прощаться прислуга, он нетвердыми шагами вышел из комнаты. В гостиной на столе стояли недопитые чашки с чаем, на блюде возвышалась горка рафинада. «Неужели они могли пить чай?» – вяло подумал Иван Платонович.

Войдя в спальную комнату, Недошивин увидел толстую кормилицу с младенцами на руках, оживленно сосавшими ее жирные груди. Она застеснялась и опустила край просторной льняной блузы, прикрыв ею не только грудь, но и личики детей. Иван Платонович подошел к ней и решительно приподнял блузу. Впервые он с интересом посмотрел на своих детей.

– Так вот оно что... – пробормотал он и вдруг почувствовал сзади себя взгляд. Это врач дожидался гонорара.

– Скажите, – спросил его Недошивин, протягивая несколько ассигнаций, по-видимому, слишком много, потому что лицо врача затвердело и вытянулось. – Скажите, может одна женщина... родить от двоих мужчин?

– Конечно, – удивился врач.

– Вы неправильно меня поняли. Может ли она родить *одновременно* двоих детей от разных мужчин?

На лице врача мелькнуло неприятное выражение.

– Ах, вот вы о чем... В принципе это возможно. Такие случаи были. Но это большая редкость. Примерно один случай на миллион.

– Благодарю вас, – сказал Иван Платонович, протягивая еще две синие ассигнации. – И прошу вас забыть этот разговор. Надеюсь, вы правильно меня понимаете?

## Брат Родион

Москва, девятнадцатый год... Холодно, голодно... И он – Родион, сын расстрелянного царского сенатора. Работает мальчиком в подпольной ресторации.

Был отец, и нет его. Нянька еще была. Утром отнесла вещи на рынок и не вернулась. Много людей тогда бесследно пропадали. Кто их считал?

За полгода после гибели отца превратились братья Недошивины, Платон и Родион, в грязных, голодных, напуганных зверушек. И *уплотнили* их – по причине отсутствия в огромной senatorской квартире взрослых – очень просто: пришли какие-то люди с комендантом района, составили какой-то «акт» и наутро выселили *монархических выкормышей* в старый дровяной сарай.

В котором и дров-то не было.

Сдохли бы братики, если бы разбежались, не помогали друг другу. Сперва Платон играл на детской скрипочке на углу Тверской и Страстного, кой-какие крохи в сарай принося. Потом ту скрипочку продали, когда совсем стало невмоготу, когда Родька орал ночью от резей в животе и пришел из дома *товарищ* и прибил его, сказав, что у него жена беременная и очень беспокойно спит. Затем вертлявый, как ужик, Родион начал воровать карточки из карманов на заводских митингах, прикидываясь фабричным учеником. И получалось у него хорошо, но однажды все-таки поймали, крепко избили и сдали в милицию. Из милиции-то он сбежал. Прикинулся припадочным, рухнул на пол, да так натурально корчился и орал, что следователь выскочил за врачом, а Родион – за ним, тихо-тихо, ужиком, ужиком...

Наконец подфартило Родиону. Ох, как же подфартило! Подобрал его на улице усатый и толстый дядька, назвавшийся Дормидонтом Созоновым.

Дормидонт нагло, в открытую, держал подпольный ресторан, доставая для него продукты незнамо где, может, даже на городских скотомогильниках. Поговаривали, что брат Дормидонта служит на Лубянской площади. Так или иначе, но за частную лавочку в суровые времена военного коммунизма запросто могли и шлепнуть, а Дормидонта не только не трогали, но кое-кто из *товарищей* у него же и столовались, вместе с женами и детьми. Но основной контингент составляли буржуи, уголовники и аристократы, успевшие в революцию припрятать кое-что.

Вот он, Родион, в красной рубашке, перетянутой наборным пояском, в хрустких новеньких сапожках, стоит перед одним из господинчиков, с которым еще три года назад его собственный отец, может, раскланивался, встретившись на Моховой возле университета.

– Подай... карту вин!

С трудом вспоминает Родион: что это за штука такая – «карта вин»? Слышал в детстве, а что – не запомнил.

– Быстрее, болван!

Озирается Родион, ищет взглядом Дормидонта. Где бы тот ни находился, всегда краем глаза посматривает в зал. Дормидонт тут как тут. Строго глядит на господинчика, на семейство его: двое сынков, погодков, в одинаковых гимназических курточках и супруга, молодая еще, красивая, только очень бледная, с нехорошим румянцем на лице.

– Что угодно господину?

– Пусть подаст карту вин!

– Кхе-кхе! – кряхтя, посмеивается Дормидонт, как удачной шутке. – Ка-арту ви-ин?

– Нет, я понимаю, – мгновенно тушуетсся господин, снизу вверх глядя на глыбообразного ресторатора. – Я понимаю, что никаких вин нынче в помине нет. Я только взглянуть... Так это принято в порядочных заведениях.

– Кхе-кхе! – Созонов продолжает смеяться глазами, оценивая нового посетителя, и супругу его, и детей: как одеты, давно ли ели? Понимает, что господин блефует, а пожрамши, чего доброго, попытается с семейством сбежать. – Не извольте беспокоиться! Что-то я личность вашу не припомню – кхе-кхе!

– Мне товарищ Альфонсов о вашей ресторации намекнул, – шепчет господин в волосатое ухо, почтительно приблизившееся к его пергаментно-желтому лицу.

– Альфонсов? – в приятной улыбке расплывается Дормидонт, хотя никакого Альфонсова не знает. – Тогда понятно-с.

– Так как же насчет карты вин? – надменно спрашивает господин, бросая сердитый взгляд на Родиона. – Я попросил бы!

– Карту вин не держим-с, – вежливо отвечает Созонов, незаметно подмигивая Родиону: дескать, держи ухо востро и глаз начеку. – Самогону в качестве аперитива предложить можем-с.

– Давай, братец, самогону, – с фальшивым вздохом соглашается господин. – Ты будешь пить самогонку, дорогая?

Жена испуганно трясет головой. Ей неуютно, страшно.

– Закусить чего?

– Студень из говядины-с.

– Давай студень на всех!

– Сию минуту-с!

В самом деле, через минуту на столе и студень, и графин с самогоном. Господин быстро выпивает и начинает жадно глотать свою порцию желе, вываренного из костей. Жена и дети едят аккуратно, хотя видно, что очень голодны. На детей, хлюпающих носами и роняющих студень с вилок, Родион не может смотреть без слез. Но смотреть ему надо обязательно – Дормидонт приказал!

Дело скверное. Господин желает расплатиться керенками.

– Бумажек не берем-с, – все еще почтительно говорит Созонов, скрестив на груди руки и загородив господину вид на выход. – Разве товарищ Альфонсов вас не предупредили-с?

– Нет. Но как же быть? – разводит руками господин. – У меня только эти деньги есть!

– Право, не знаю, – уже сердится Дормидонт. – Вас должны были предупредить. Берем золото, драгоценности. Открываем кредит...

– Ну так откройте мне этот ваш кредит! – испуганно и возмущенно заявляет господин.

– Не для вас.

– А для кого?

– Для мазуриков, идиот! – пьяно орут с соседнего стола и оглушительно хохочут.

Супруга господина тихо плачет.

– Феденька... Я говорила тебе...

– Молчи! – цыкает на нее супруг и снова обращается к Дормидонту: – Скажите, мы можем договориться, как порядочные люди?

– Почему нет? – загадочно улыбается Дормидонт, игриво посматривая на оробевшего Родиона. – Отойдемте в сторонку-с.

Через минуту они возвращаются. Лицо господина покрыто красными пятнами. Сердитым движением он выплескивает в стакан остатки самогона, с жадностью высасывает и говорит:

– Дети, пошли! Милая... останься ненадолго.

Она не удивляется его словам, только плачет еще сильнее.

– Зачем он ее? – спрашивает Родион волосатое ухо хозяина.

– Затем, что красивая бабенка в любые времена хороший товар. Иди, Роденька, развлекись с мадамой за занавеской! – громко произносит Созонов, когда господин с детьми исчезают. – А ты, мадама, поаккуратней с моим мальчишечкой, он бестолковый еще.

– Я не... не буду! – шепчет Родион.

Весь зал взрывается смехом.

– Чаво?! – перебивая громовым голосом неистовство зала, говорит Дормидонт и больно толкает Родиона кулаком в лоб по направлению к женщине. – Будешь! Посмотри на себя в зеркало, вся морда в прыщах! Кому такой офицьянт нужон?!

И вот они с дамой наедине...

Ресторан Созонова занимает большое полуподвальное помещение из двух комнат с зарешеченными окнами в глухой двор. В большой комнате – зал для посетителей, со столами, стульями и дорогим фортепьяно, на котором по вечерам приходит играть молодая жена Созонова, бывшая консерваторка. Дормидонт тоже подобрал ее на улице, как Родиона. В комнате поменьше – кухня, в торце ее, за пестрой занавеской, «кабинет» Дормидонта. Кроме печки-буржуйки с длинной жестяной трубой, выведенной в окно, и узкого топчана с матрасом и одеялом, в этом «кабинете» ничего нет. Здесь хозяин остается ночевать, когда выпивает лишнего.

В комнате дама успокаивается, перестает плакать, садится на топчан и буднично расстегивает кофту. Родион с ужасом наблюдает.

– Ну, что стоишь? Помогите мне, мальчик.

Через плечо она показывает пальцем на петли широкого шелкового лифа. На деревянных ногах Родион приближается к ней.

– Осторожно, мальчик, не сломай застежку. Вещь дорогая. И не дрожи, пожалуйста, мне и без тебя холодно.

– Давайте, – шепчет Родион, – просто побудем тут немножко и потом всем скажем...

– Не получится, – вздыхает дама и глазами указывает на колышущуюся, как от сквозняка, занавеску. – Наверняка он за нами подсматривает.

– О-о! – только и может произнести Родион.

– Это ничего, – еще раз вздыхает женщина и по-домашнему снимает лиф, открыв обезумевшему Родиону слишком крупные для своей комплекции, но еще крепкие и молодые груди. – Пускай смотрят. А мы вот под одеяло с тобой заберемся.

– Я не смогу, – хнычет Родион, с удивлением обнаруживая, что женщина уже стянула с него через голову рубашку и аккуратно сложила под подушкой.

– Если не ты, – говорит она, притягивая его голову к себе на грудь, – твой хозяин продаст меня какому-нибудь сифилитику из зала.

– Но я...

– Это просто. Не делай ничего и не думай. Иди ко мне, Родя!

Через десять минут Родион сладко плачет между влажных грудей, и голова у него плывет кругом от невероятного запаха женского пота и собственных слез.

– Ма-ма...

Дама садится на топчане и резко отталкивает его от себя.

– Ты что?!

– Ма-ма! – плачет Родя.

В расширившихся от сумрака зрачках его первой женщины появляется ужас.

– Сирота?

– Дда-а!

– Господи! Да ты свою маму, что ли, во мне увидел? Ох ты – грех-то какой!

В зале женщина подходит к Созонову и плюет ему в лицо.

Дормидонт молча утирает смеющиеся глаза рукавом.

Потом смущенно похлопывает Родиона по плечу:

– Ты, братец, того... Ну, не надо... Я ведь только из-за них, из-за прыщей... А ей, братец, это не впервой... У меня на баб глаз наметанный!

## Брат Платон

Дело № 141061 было завершено. Можно передавать в коллегию. Старший следователь первого секретного отдела НКВД Платон Иванович Недошивин подошел к окну своего кабинета и отдернул тяжелую бордовую штору. В Москве брезжил неверный рассвет. По Лубянке мело поземкой. Сегодня Покров, вспомнил Недошивин. Снег на Покров – хорошая примета...

Глаза нестерпимо болели. Недошивин снял очки и с мазохистским наслаждением надавил указательными пальцами на глазные яблоки. В голове вспыхнул огненный шар. Боль затравленно отступила в затылок и притаилась. Не давая ей времени опомниться, он вслепую достал из ящика стола серебряную фляжечку с вензелем «И. Н.», быстро свинтил ей крышку и сделал несколько глотков теплой противной водки. Шумно и печально вздохнул, как спящий пес, и отпустил глаза на волю. Он смотрел вокруг растерянным взглядом близорукого человека. По его серому от ночных бдений лицу пошли розовые пятна, лоб вспотел. Если бы кто-то видел его в этот момент, он сказал бы: «Какая противная баба в кителе!»

И был бы неправ. Это была не «баба», а один из самых опытных сотрудников НКВД, за которым не числилось ни одного проваленного дела и который любое следствие железной рукой доводил до победного конца, так что в коллегии только пальчики облизывали и ставили его в пример другим следователям-головотяпам. Но если бы кто-то заметил, что этот прекрасный работник элементарно спивается, он был бы, конечно, прав. Платон Иванович спивался и знал об этом. Однако с недавнего времени это перестало его беспокоить. Совсем другие мысли занимали его. И вот, чтобы упорядочить эти мысли, водка была ему просто необходима.

В последнее время он все чаще и чаще вспоминал отца. Иван Платонович Недошивин, сенатор и либерал, известный московский социолог, был казнен в 1918 году. После гибели отца они с братом Родионом голодали и незаметно превратились в профессиональных нищих. Потом был лагерь для беспризорных, потом они потеряли друг друга. Выручила Платона случайно обнаружившая его двоюродная сестра, вышедшая замуж за комиссара из Наркомата иностранных дел. Супруг сестры был фигурой влиятельной, в молодости дружил с Чичериным, был своим человеком в писательских и артистических кругах. Сестра рассказывала, что с Чичериным его познакомили до революции в Петербурге в каком-то поэтическом кафе во время выступления Бальмонта, завершившегося пьяной потасовкой.

Платона пристроили в Москве. Он закончил школу, юридические курсы и неожиданно оказался прекрасным работником карательных органов. Дворянское прошлое пошло ему в плюс – он проще находил язык с писателями, художниками и научными работниками, проходившими по его ведомству. Они рассказывали ему то, о чем он их даже не спрашивал. О моральной стороне своей работы он не думал. К 1936 году он был уже девять лет как женат, взяв в жены миленькую курносенькую сотрудницу из архива и превратив ее в приличную домохозяйку. Воспитанием их единственного сына занималась она, а он строго-настрого приказал ей следить, чтобы мальчик: а) никогда не лгал (пусть лучше сознается в проступке и получит прощение); б) содержался в чистоте и опрятности; в) не заносился перед менее обеспеченными детьми и не тушевался перед более богатыми.

В какой-то момент он искренне поверил в то, что смерть отца была результатом необходимого и неизбежного исторического процесса. Подростковый кошмар притупился в его памяти, страна жила всё лучше и веселее. И в этом благополучии своей страны Платон Недошивин даже мысленно не находил места отцу.

Но последнее дело нарушило его душевную ясность. Дело, в общем, было несложным. Станным было то, как он себя повел...

Речь шла о Фоме Игнатьевиче Халдееве, православном, купеческого происхождения, год рождения 1892, организовавшем в Москве не то научное, не то мистическое общество с нелепым названием «Голуби Ноя». Чем занимались «голуби», хранилось в строгом секрете, хотя в общество входили известные артисты, ученые, писатели, причем такие, которым патронировал главный инженер человеческих душ Максим Горький.

Заинтересовавшись «голубями», органы без труда внедрили к ним своего человека, но ничего политически вредного он обнаружить не смог. «Голуби» слетались раз в неделю на квартире или казенной даче одного из членов общества и часами ворковали о чем-то исключительно бессмысленном. Например, Халдеев называл себя Правым Оком Великого Магистра, настоящее имя которого имеют право знать, кроме него, еще два человека, имен которых он назвать не может, хотя они известны всей стране.

Пикантность дела заключалась в том, что Фома Халдеев сам был штатным сотрудником НКВД, вышедшим из-под контроля. Его завербовали во Франции еще в конце двадцатых. Завербовали – неточно сказано. Он сам напросился. Перелистывая страницы халдеевской биографии, Недошивин смеялся: как работники органов не догадались, что перед ними или совсем дурак, или не самый умный плут?

Отец Халдеева был очень богат (один из поставщиков Елисейевских магазинов) и сына Фомку устроил в коммерческое училище князя Тенишева, модное и престижное учебное заведение Петербурга.

По окончании учебы, не поддавшись на уговоры отца развивать семейное дело, Фома рванул в Германию, в Марбург, в школу модного философа Когена, с которым быстро расстался, якобы не смирившись с его рационализмом, а на деле просто оказавшись неспособным к философии.

Потом Фома путешествовал по Европе на деньги чадолюбивого батюшки и занимался всем подряд. Он изучал древних мистиков, гностиков, оккультные науки, египетскую и ассирийскую мифологию, апокрифы ранних христиан и тибетский буддизм. Целый год он провёл в иезуитском монастыре и первым из русских познакомился с антропософом Рудольфом Штейнером.

Русско-германская война застигла его в Берлине, где его арестовали как «шпиона». Но в декабре 1914 года Фома вернулся в Петроград. Поговаривали, что еще до войны, находясь во Франции, Халдеев вступил в тайное общество розенкрейцеров. Они-то и выручили его через германских «рыцарей» и отправили в Россию с особой секретной миссией.

Так или иначе, но в России Фома Игнатьевич развил бешеную деятельность. Он метался из одного художественного салона в другой. Он исправно посещал заседания Вольного философского общества, выступая там с докладами, в которых никто ничего не понимал, но все равно имел большой успех. Он перезнакомился со всей петроградской богемой, был своим в квартире Гиппиус и Мережковского, по-свойски посещал «Башню» Вячеслава Иванова и стал корреспондентом Максима Горького. И везде его принимали радушно. Подкупали его простонародная внешность и добродушный авантюристический нрав в сочетании с поверхностно усвоенными европейскими манерами и обширными, но неглубокими знаниями. Особенный интерес представлял большой капитал его отца, нажившегося на военных поставках.

Как-то из любопытства заглянув в философский альманах, издаваемый на его деньги, и прочитав несколько строк из Фомкиного сочинения, которое из уважения к сыну мецената было помещено в начале журнальной книжки, Игнат Фомич чертыхнулся, перекрестился и сказал:

– Ну и дурак же ты, Фомка! Ведь что обидно? Господа эти на наши деньги каждый вечер в ресторанах икру жрут, а мы с матерью как привыкли кислые щи с гречневой кашей

лопаты, так до гроба и не отвыкнем. Помяни мое слово, помру, оберут тебя твои господа, по миру пустят. И над нами же, неотесанным мужичьем, посмеются.

Больше на «филозофию» он денег не давал. А и денег тех скоро не стало. Ошибкой Игната Халдеева было то, что не держал он своих денег за границей, только в Латвии имея недвижимость. Там он с женой и обосновался после революции.

Оставив родителей доживать свой век на латышском хуторе и благородно не взяв у них ни копейки, Фома Халдеев помчался в Париж к своим бывшим петроградским знакомым, теперь эмигрантам. Встретили его ласково, но без энтузиазма. И вдруг Халдеев всех изумил! Он появлялся на таких собраниях парижской финансово-политической элиты, что если бы видел его там батюшка, то забрал бы назад свои слова о Фомке-дураке.

И вновь потекли слухи о *масонстве* Халдеева. Кто-то говорил, что он является розенкрейцером в шестой степени посвящения, означающей членство в мировом оккультно-магическом центре с правом создания своего филиала в любой точке земли.

Халдеева пригласил в Сорренто Максим Горький. Он встретил его с истинно русским размахом и итальянской беспечностью. Много пили и пели, катались с рыбаками на лодке, ездили на извозчиках кутить в Неаполь. Халдеев рассказывал, как озорной Алексей Максимович свистел и бил в ладоши, когда извозчик умчался от них, не вернув сдачи. Еще он говорил, что сюжет романа «Дело Артамоновых» был навеян великому писателю его, Фомы, рассказами о папаше. Во второй визит в Сорренто, случившийся накануне триумфального возвращения Горького в СССР, Халдеев уединился с писателем в кабинете, где тот сказал ему, смущенно окая:

– Думаю возвращаться на родину. И вы возвращайтесь! Бросайте к чертям драповым этих господ-эмигрантов и поезжайте с Богом!

И Фома поехал.

Но предварительно заручился гарантией своей безопасности у компетентных советских служб, напросившись на сотрудничество с ними. Оказалось, однако, что настоящее сотрудничество не входило в его планы. Куда интереснее ему были известные личности из советской научно-художественной элиты, потянувшиеся в созданный им орден «Голуби Ноя» то ли из простого любопытства, то ли из-за повальной моды на мистику и чертовщину, подаваемую на научной подкладке.

Миссия Фомы заключалась в грандиозном эксперименте по освоению мистических тайн. Результатом эксперимента должно было стать подчинение Мировых Стихий, причем в материальном смысле. Для этого были необходимы специальные знания, которыми владел только он, Фома Халдеев. От «рыцарей» требовалось немного: высокие связи, научные открытия и беспрекословное подчинение руководителю Ордена.

Конечно, новоиспеченные «рыцари» интересовались: а в каких отношениях с советским законодательством состоит исполняющий обязанности Великого Магистра? На это Халдеев честно отвечал, что в соответствующих органах он человек известный. Это успокоило «голубей». Когда же он в южных красках описал свое знакомство с Максимом Горьким, которого недавно восторженно встречали на Белорусском вокзале, сердца «рыцарей» были пленены окончательно.

Через год Орден насчитывал в своих рядах, по одним сведениям, сорок членов, по другим – более пятидесяти. Но лишь двенадцать из них имели высокое право называть себя «рыцарями». Остальные находись либо в «учениках», либо «на подготовительной ступени к посвящению».

До поры до времени это устраивало НКВД. Сам того не желая, Халдеев работал на них. Он проявлял в научно-художественной интеллигенции такие настроения, которые таились в ней всегда, а любую болезнь проще изучать в открытой форме. К тому же в случае

необходимости собрания Ордена можно было трактовать как угодно (например, как террористический заговор) и брать «голубей» всем их теплым гнездышком.

Два раза органы все же выходили на агентурную встречу с Фомой. Ему намекнули, что в скором времени от него могут потребоваться услуги в качестве благодарности за гражданство в самой свободной стране мира. Фома Игнатьевич охотно согласился на это, но о созданном Ордене молчал, как рыба. Из этого в НКВД сделали вывод, что Халдеев считает их третьими лишними. Но это тоже их устроило: ведь компромат на неверного агента потихоньку собирался. Так с обеих сторон велась своя игра, и в этой игре, по убеждению органов, финал был предрешен. Если Халдеев этого не понимает, тем лучше. С такими проще работать.

Лишь одна деталь не понравилась. Некоторые встречи «рыцарей» проходили в арендованном у дворника подвальном помещении на Малой Лубянке, недалеко от расстрельных подвалов. Было ли это случайностью? Внедренного в Орден сексота на встречи не допускали, он ходил в «учениках». Попытка выведать что-либо у дворника провалилась: платили ему щедро, но совать нос в дела «рыцарей» не давали.

Однако и этому факту не придали серьезного значения. В конце концов, в поведении сектантов всегда бывают свои странности. А подрезать «голубям» их сизые крылья можно в любой момент.

Но однажды Халдеев совершил наглый и безрассудный проступок, подписавший Ордену смертный приговор. Он отправился в Крым, необъяснимым образом сумел пробраться на дачу Горького и лично поговорить со Стариком. Вот этого делать не следовало! Тучи вокруг Старика уже сгущались. В последнее время он заметно нервничал и капризничал, предъявляя невыполнимые требования. Любые контакты с ним посторонних лиц были исключены. Халдеев как-то обманул дачную охрану и выскочил перед Стариком, как черт из табакерки, прямо из-за кустов. Впрочем, разговор был невинный. Вспомнили Сорренто, Неаполь, мальчишку-извозчика... Однако в конце разговора визитер сунул в карман писателя какой-то конверт. Все письма Горькому просматривал его секретарь Петр Крючков, но это оказалось ему недоступно. Больше того, в кругу домашних словоохотливый Старик о письме ни словом не обмолвился. Это было очень странно!

– Фома Игнатьевич, – тихим голосом начал допрос Недошивин, – вы понимаете, зачем мы побеспокоили вас в столь поздний час?

– Вероятно, – побледнев, отвечал Халдеев, – это связано с моим письмом в ЦК партии?

– С каким письмом? – Недошивин даже не успел удивиться откровенности Халдеева.

– Вы не знаете о письме?! Стало быть, вы не в курсе? Но тогда... какого дьявола меня разбудили среди ночи два ваших бугая, перевернули квартиру вверх дном и привезли к вам... Да кто вы такой? Знаете ли вы, что завтра же вас не будет на этом месте! Вы, сударь, обыкновенный солдафон!

Платон Иванович посмотрел на него с грустью. Значит, этот дурачок пытался передать через Горького в ЦК какое-то письмо. Теперь он уверен, что оно дошло до адресата и является для него охранной грамотой.

– Каким способом вы отправили письмо в ЦК? Изложите его содержание.

– Вам? – надменно спросил Халдеев. – Этого еще не хватало!

Недошивин встал из-за стола и подошел к окну. Холодно. Еще несколько дней, и выпадет снег. Снег – это хорошо. Москва опять будет чистой и светлой.

– Сейчас я позову своего помощника, – сказал он тихо, не оборачиваясь, – и он оторвет тебе яйца одно за другим. Говорят, это больно, я не знаю.

Встать! – заорал он, стремительно развернувшись к Халдееву.

Халдеев вскочил.

– Я не понимаю... Что такое... Вы не представляете, с кем вы имеете дело...

– Я имею дело с нашим штатным сотрудником Фомой Игнатьевичем Халдеевым, в прошлом злостным белоэмигрантом, а теперь, я надеюсь, нашим помощником. Или я ошибаюсь?

– Да, конечно... – пробормотал арестованный. – Я подписал бумагу о сотрудничестве. Но я полагал, что мое нынешнее призвание... Оно важнее для Советского государства...

– Фома Игнатьевич, – сказал Недошивин, возвращаясь на вежливый тон, – я расскажу вам о вашем призвании. Заметьте, я мог бы этого не делать. Но вы мне симпатичны. Вы ведь Тенишевское закончили? А мой батюшка с вашим директором в дружбе состоял. Так что мы с вами одного поля ягоды. Отец мой и папашу вашего, если не ошибаюсь, знал. Впрочем, кто же не знал в обеих столицах Игната Халдеева? Кстати, ваш батюшка жив? Умер? Жаль! Но к делу. Я предлагаю вам два варианта и не сомневаюсь, что вы примете правильное решение. Первый: вы, секретный работник НКВД, провели работу по выявлению истинных настроений буржуазной интеллигенции, которая под покровом научной мистики пытается возродить в стране власть поповщины. Правда, вы не согласовали с нами методы вашей работы, но победителей не судят. Не судят, Фома Игнатьевич! Вариант второй: злоупотребив гуманностью советской власти, проявившей к вам неслыханное доверие, вы сами втерлись в доверие к государственным органам и развернули вредительскую деятельность, создав подпольную антисоветскую организацию и занимаясь религиозной пропагандой среди крупнейших ученых. Тем самым вы подорвали мощь нашей науки и нанесли прямой ущерб обороноспособности СССР. Спецслужбы каких зарубежных государств щедро оплачивали вашу подрывную работу, мы очень скоро выясним.

Халдеев потрясенно молчал.

– Что было в письме, болван? – повторил Недошивин.

– Я изложил в нем суть моего эксперимента по вступлению в контакт с *элементалиями*.

– С кем?!

– С *элементалиями*. Это первичные элементы потустороннего мира, самые простейшие. Но через контакт с ними мы можем сообщаться с Мировой Волей и предсказывать грядущие события, а возможно, и управлять ими. Я предложил создать государственный оккультно-мистический институт под крылом вашего ведомства.

– Вы бредите, Халдеев!

– Нисколько! – азартно воскликнул арестованный. – В моей помощи вы нуждаетесь не меньше, чем я в вашей.

– В чем же, например?

– Например, в моей способности читать чужие мысли, управлять чужим сознанием.

Мои личные связи, наконец...

Недошивин понял, что можно заканчивать допрос.

– Да не волнуйтесь вы так, голубчик! – весело произнес он. – Я действительно мало смыслю в этом предмете, хотя и слышал что-то о гипнозе, о чтении мыслей на расстоянии. Но эти... как вы сказали... элементалии? Для чего они?

– Как вы не понимаете! – возмутился Халдеев. – Если мы сможем управлять Мировой Волей, СССР станет сверхгосударством! Мы создадим новый Мировой Порядок. И не только на Земле... СССР станет центром Вселенной!

– Ну хорошо. Но зачем вы сняли подвал недалеко от нас? Из озорства, что ли?

– Это опыты. Выйти на контакт с элементалиями проще всего через кровь невинных жертв. На кровь невинных жертв слетаются *лярвы*.

– Как вы сказали?

– На кровь невинных жертв слетаются лярвы. Это одни из элементарий. Они не обладают высшей чистотой нематериальности и нуждаются в подпитке отрицательной энергией. По сути, это вампиры. Но через них мы выйдем на контакт с Мировой Волей и...

– Это я уже слышал, – оборвал его Недошивин. – Но каким образом можно... кровь... и этих... как вы сказали?

– Мы предложим им столько невинной крови, сколько им и не снилось! Мы сделаем это в специально оборудованном помещении, где будет только вход, но не будет выхода. Таким способом мы заманим их в своеобразную ловушку и заставим служить себе.

«Конечно, он сумасшедший», – подумал Недошивин. Но дело зашло слишком далеко, чтобы представить его наверх таким образом. Это будет означать, что секретный отдел несколько лет занимался идиотом.

Он положил перед Халдеевым перо и стопку бумаги.

– Пишите, Фома Игнатьевич. Пишите всё очень подробно. Особенно о вашем разговоре с Алексеем Максимовичем и о письме, которое вы подбросили. Но вот об элементариях и крови, как вы изволили выразиться, «невинных жертв» лучше ничего не писать.

Он оглянулся на дверь. За дверью находился его помощник.

– Я не сомневаюсь, – одними губами произнес Недошивин, – что Старик ваше письмо уничтожил.

В конце октября Недошивина арестовали.

Дело представили так, будто на первом допросе Фомы Халдеева Недошивин вступил с ним в преступный сговор. Платон Иванович не раз спрашивал себя еще до ареста: зачем он попытался спасти этого полоумного мошенника? Недошивин подписал всё, что ему инкриминировали, не согласившись только на версию покушения на Сталина и дружески посоветовав следователю Рябову не перегибать палку и не ставить коллегии в сложное положение. Ему расхотелось жить. В камере он вспоминал об отце. Как же страдал этот красивый, избалованный комфортной жизнью человек в переполненном подвале ЧК! Как он мучился, он, всегда безукоризненно выбритый и до смешного обожавший свой особый сорт французской туалетной воды! Почему-то больше всего Платона Ивановича терзала мысль, что перед смертью отец не имел возможности поменять нижнее белье.

Только сейчас Недошивин понял, что ребенком боготворил своего отца. Как это больно! И зачем теперь жить?

Но почему он вспомнил об отце?

В деле Фомы Халдеева была одна странная бумага, запись какой-то легенды, будто бы древнего происхождения. Весь этот бред Недошивин потребовал записать исключительно для того, чтобы подать всё дело как плод взбалмошной фантазии графомана-неудачника. (Бумага была подшита вместе с книжицей Халдеева, в молодости грешившего писательством.) Это был первый случай, когда Недошивин выступил в роли тайного адвоката подследственного. И разумеется – неудачно. Дело вернули на доследование, а за него взяли всерьез – в органах назревала кадровая чистка.

Легенду Недошивин запомнил наизусть. Она называлась:

### **Легенда об отце и сыне**

В десятом веке от Рождества Христова в земле Орзунд жил праведный человек по имени Осий. Бог даровал ему трех дочерей – Онию, Осок и Одель – и одного сына – Орона. Жена Осия, Одига, умерла во время родов мальчика. Тем не менее семья Осия жила счастливо.

Целыми днями они трудились в своих виноградниках, каждый год нанимая огромное число работников и вознаграждая их столь щедро, что они благодарили Бога за существова-

ние Осия. Но и зимой они не оставались без дела, занимаясь выделкой кож. Редкие свободные часы и праздники они проводили в храме, приходя в него первыми и уходя последними.

Сам Господь с небес любовался Осием и его семейством, отдыхая на них взглядом от бесчисленного зла, творимого на Земле. Ангелы возле Его престола замирали от восторга, наслаждаясь этим зрелищем.

И вдруг случилось невероятное.

Ночью, накануне Рождества Христова, Осий и его семейство пришли из храма и мирно беседовали за праздничным столом. Неожиданно Орон встал из-за стола, подошел к отцу, взял лежавший рядом острый колбасный нож и вонзил его отцу в горло.

Обливаясь кровью, Осий рухнул головой на стол. Видевший это Господь был так разгневан, что не раздумывая поразил Орона мгновенной смертью. Сын упал возле отца.

И призвал Господь к Себе на суд черную душу Орона.

– Что ты наделал, безумец! – воскликнул Он. – И почему я раньше не заметил, что дьявол водит твоей рукой?

Но молчал Орон и загадочно улыбался. И удивился Господь: душа Орона была черным-черна, но сердце его сияло несказанно чистым светом, и в нем горела святая любовь к своему отцу.

И задумался Господь.

– То, что ты сделал, – наконец вымолвил Он, – заслуживает худшего, чем просто ад. Там грешники один раз в год в Богородицын день получают избавление от адских мук, а ты и этого не достоин. Посмотри вниз! Ты видишь непроницаемый океан черной магмы? Это расплавленные души нераскаявшихся отцеубийц!

Но молчал Орон и только улыбался. И все ярче светилось его чистое сердце. И пожалел Орона Господь.

– Я дам тебе возможность исправить свою судьбу. Я верну тебя на Землю за мгновение до того, как ты совершил свой безумный поступок, но с памятью о нем. В твоих силах будет победить дьявола. Но всю жизнь ты будешь помнить о своем злодействе. Ты сможешь раскаяться и вступить на путь духовного подвига. И когда ты снова умрешь, я вновь призову тебя на суд.

Но опечалился Орон.

– Господи, если Ты вернешь меня на Землю за миг до убийства, я буду вынужден опять сделать то, что сделал. Ты возлюбил моего отца, и я тоже люблю его. Не заставляй же его мучиться дважды!

И тогда разгневался Господь так сильно, что святые ангелы в испуге отлетели от Его престола.

– Как ты смеешь второй раз идти против Моей воли!

– Я иду против Твоей воли, потому что не согласен с ней. Я не отца своего убил, но Тебя в своем отце. Мой отец был отражением Твоим, и вот я разбил зеркало. И разобью его еще раз, как ни жаль мне отца своего.

– За что ненавидишь Меня? Разве Я не помогал вашей семье в большом и в малом? Разве не были вы Моими избранниками? Разве не было уготовано вам блаженство на небесах?

– Да, Ты любишь нас. Но какая нам радость от Твоей любви? Ты дважды оскорбил человека Своей любовью. Сперва Ты проклял нашего праотца Адама только за то, что он не захотел быть отражением Твоим. Потом Ты пожалел нас и послал к нам Сына, второй раз оскорбив нас. Сын Твой был рожден земной женщиной, но без участия мужчины. Ты готов был вознести на Небо даже разбойника, который принял, как Твой Сын, крестную муку. Но Ты никогда не вознесешь на небо сильного и мужественного!

Ты просто боишься нас, вот что я понял однажды! И поэтому Ты ненавидишь наших магов и астрологов. Они знают что-то такое, что Ты не позволяешь знать людям. Они слишком близко подошли к главной тайне, которую Ты скрываешь от людей.

Эта тайна о том, что Ты не одинок во Вселенной! Есть много богов, и Ты только один из пастухов, который пытается сохранить свое стадо, не дать ему разбежаться. Но рано или поздно мы выйдем из-под Твоей воли. Мы познаем механизм Твоей власти над нами, мы проникнем в природу стихий и отыщем лазейку из Твоего мира. И тогда мы станем свободны! Наши бессмертные души заселят множество миров, и, как знать, может быть, в каждом из них каждый из нас станет богом! Мы объединимся с душами таких же поработанных существ. Это будет великое братство вселенских народов! Мы создадим новый прекрасный и яростный мир, в котором не будет томительной скуки Твоего мира! И тогда души восставших освободят меня из Твоего плена, из непроницаемого океана черной магмы! Я снова встречу с моим отцом! Я вызволю его из вечной скуки Твоего Рая!

Слушая эту речь, святые ангелы в страхе жались возле Господнего престола. Еще никто не осмеливался так говорить с Владыкой! Но когда Орон закончил, Господь засмеялся.

– Я понял тебя, – сказал Он. – Я понял, почему сердце твое так чисто, когда душа так черна. Ты совершил злодеяние, но ты любил своего отца и ревновал его ко Мне. Все же Я не могу не наказать тебя. Я поступлю так: ты вернешься на Землю и будешь тем, кем мечтаешь быть, великим магом и чародеем. Ты проживешь множество жизней. Ни мор, ни глад, ни закон, ни беззаконие не будут властны над тобой. Ты познаешь механизм Моей власти над миром (этот секрет прост), ты проникнешь в природу стихий (это только рябь на воде), ты станешь единственным из смертных, кто постигнет тайну Моих отношений с людьми. Но...

Ты будешь лишен одного, не по Моей, по своей воле. В каждом своем новом воплощении ты не будешь знать своего отца. Безотцовство станет твоим единственным недостатком.

И когда ты поймешь, кто твой отец, успокоится твое чистое сердце и просветлеет твоя черная душа...

Ступай же, Орон!

Раздался удар космического грома, и быстрее молнии помчалась к Земле душа Орона, похожая на сгусток черного тумана. Но ангелам казалось, что это летит прекрасная голубая комета – так чисто и нежно светилось сердце Орона...

На последнем допросе, решив окончательно раздавить Недошивина, следователь положил перед ним показания его восьмилетнего сына Платона. Мальчик честно передал органам домашние разговоры отца. «Ведь это я заставлял его всегда говорить правду, – подумал Платон Иванович. – Несчастный мальчик! Что его ждет?»

Его повели на расстрел ранним утром. Он думал, что это большая жестокость: убивать людей в начале дня.

Когда зачитывали приговор, его единственной мыслью было: *«На кровь невинных жертв летаются лявры»*.

## Глава вторая Путешествие из Петербурга в Москву

### Новый русский

– Русский?! Не может быть!

– Почему?

– Вы не похожи на русского!

Ранним холодным утром 1991 года самолет «Боинг-777» компании “*Delta Airlines*”, следующий рейсом Нью-Йорк – Москва, неторопливо набрал высоту и неподвижно повис над Атлантикой. Океан штормило, но сверху это напоминало рябь на бескрайней луже. В хвостовом отсеке познакомились и разговорились двое попутчиков: полноватый юноша в черном костюме и широкополой шляпе и неопределенного возраста господин в шортах и майке с эмблемой “*Chicago Bulls*”.

Шляпа и костюм как-то странно сочетались с чистеньким, будто вылепленным из нежного розового воска лицом молодого человека, с его простоватым веснушчатый носом, безвольным подбородком, покрытым цыплячьим пухом, и слишком роскошными для парня ресницами, из-за которых по-женски томно смотрели серые, большие, внимательные глаза. Казалось, накануне его рождения мать-природа долго сомневалась, какой пол определить своему творению? И в результате получилось ни то ни сё, ни парень, ни девка, серединка на половинку.

Господин, наоборот, имел внешность решительную и мужественную. Его светлые, курчавые, коротко постриженные волосы, прекрасно загоревшее лицо и властные линии губ выдавали в нем не то пожилого плейбоя, не то просто мужчину, хорошо и со вкусом пожившего. Его слова и жесты были развязны, но уверенны. Он играл с юношей, точно кот с мышью.

– Какой же вы русский! Вы типичный янки, приятель! Хорошо говорить по-русски еще не значит быть русским. Ваши родители эмигранты? Как странно вы одеты, как мормон! Вы не протестантский проповедник? Первый американец, с которым я познакомился, был протестантский проповедник. Я этого не знал и по скверной русской привычке стал его спрашивать, чем он зарабатывает? Он смотрел на меня такими же глазами, что и вы. Этот проповедничек, – с веселой злостью продолжал господин, – оказался нормальным парнем и не дураком выпить. Я его спрашиваю: кому же ты проповедуешь? Оказывается, грекам. Почему грекам? Почему не китайцам? Оказывается, других вакансий для него не нашлось. Это у них называется работа *в восточном дивизионе*. Кстати, он признался, что не знает греческого языка. Ни бум-бум! Разве это не замечательно?!

– Нет! – неожиданно твердо возразил молодой человек. – Это не замечательно. Он должен был выучить греческий язык.

– Зачем? – игриво поинтересовался господин.

– Надо хорошо делать свою работу, – заволновался юноша. – Миссионерская служба – это очень ответственная работа! Мы открываем школы, больницы, помогаем одиноким старикам и бездомным!

– Кто эти «мы», позвольте вас спросить?

Юноша растерялся. Но тут же в его глазах вспыхнуло что-то вроде патриотического восторга.

– Мы – это Соединенные Штаты Америки!

«Эк тебя накачали, любезный!» – подумал господин.

– Вы живете в Москве? – спросил юноша.

– Да, но родился в Рыбинске. Там и теперь живет моя старушка. Однако мы не представились! Лев Сергеевич Барский, профессор русской литературы. Изучаю рубеж веков и эмиграцию. Возвращаюсь с одной глупейшей конференции, где за американский счет устроил небольшой политический скандал. Нарушил все правила политкорректности. И теперь думаю, зачем я это сделал?

– Наверное, вы русский интеллигент? – осторожно спросил юноша.

Барский посмотрел на него с театральным испугом:

– Дорогой мой! Не вздумайте в России назвать кого-нибудь этим неприличным словом! Нынче сказать о порядочном человеке, что он интеллигент, можно только в насмешку. А как вас зовут?

– Джон Половинкин, живу в Питтсбурге.

– Половинкин... Хм-м... Старинная фамилия! Грустная по смыслу. Половинками называли детей от незаконной связи...

– Это вас не касается! – грубо оборвал его юноша, но тотчас смутился и стыдливо опустил глаза.

– Простите... – пробормотал Барский. Но через минуту он снова попытался настроиться на иронический тон. – Значит, вы летите в Москву проповедовать. Интересно, что именно? И кому? Как вы представляете себе современного русского человека?

– Я думаю, – важно начал Джон, – что за время перестройки Россия изменилась и теперь нуждается в профессионалах, которые укажут ей правильный путь развития.

– Понятно... – Барский помрачнел. – Вы тоже помешаны на Горбачеве. Если вас интересует Горби – вопросы не ко мне.

– Вы не верите в перестройку?

– Меня тошнит от этого слова! Вы еще скажите «перестройка и ускорение»! Дорогой мой! Как можно *перестраиваться* и *ускоряться* одновременно? Увольте! Самые дремучие коммунисты лучше понимают Россию.

– Разве не было Сталина, концлагерей, подавления свободы? Разве русские люди не мечтают о свободе и демократии?

– И это вы собираетесь проповедовать в России?

– Я еще не проповедник. Меня отправили... Я хотел бы изучить Россию.

– С этой кашей в голове вы никогда не поймете Россию, – впервые за все время разговора серьезным тоном сказал Барский. – Слушайте, приятель... А не выпить ли нам настоящей русской водки?

– Я не употребляю алкоголь, – неуверенно возразил Половинкин.

## Ихнее сиятельство приехали!

Барский с явным сожалением вернул в дорогой кожаный саквояж бутылку водки “*Smirnoff*” и сердито буркнул:

– Я забыл, что вы мормон.

– Я не мормон! – запротестовал юноша.

– Мормон не мормон... Какая разница? Раз не пьете с первым встречным, значит, вы не русский. Впрочем, кто сказал, что быть русским – хорошо?

– Вы уронили, – заметил Половинкин и поднял с прохода выпавшую из саквояжа тонкую книжечку в бумажной обложке, потемневшей от времени до желто-бурого цвета.

Барский улыбнулся:

– Так, безделица! Я иногда покупаю такие штуки в книжной лавке на улице Горького. Дешевенький детектив конца прошлого века. Девяностые годы, батенька! Мой любимый период! Культурный ренессанс и чудовищное падение нравов. Расцвет и гибель империи. Всё было прекрасно и отвратительно. Особенно прекрасны были русские девушки, которые повально мечтали стать акушерками. Россия готовилась к родам новой эры. Все обсуждали «Капитал» Маркса и «Крейцерову сонату» Толстого.

Джон смотрел на Барского с глупой улыбкой. Он не понимал смысла речей этого господина, но почему-то радовался за него.

– Вы позволите?

– Я вам ее дарю!

«*Фома Халдеевъ. Провинціальный Вавилонъ*» – прочитал Джон на обложке. Барский нахохлился и сделал вид, что пытается уснуть.

Ранним холодным утром в начале октября 189\* года к парадному крыльцу дома князя Чернолуцкого подкатила коляска с впряженной в нее измученной пегой кобылой. Глядя на дырявый верх коляски и на кобылу, обреченно замершую под дугой, точно преступник под ножом гильотины, можно было бы подумать, что к их сиятельству в неурочный час приехал дальний родственник просить о помощи, будучи заранее уверенным в том, что ему не только откажут, но и не пустят за порог.

Вслед за коляской в воротах усадьбы прогрехотала крестьянская повозка, набитая мокрой, схваченной морозцем соломой, с набросанными поверх как попало старыми шкурами, рогожами и еще какой-то дрянью неизвестного происхождения. На передке уныло торчал сонный возница, тоже изрядно подмороженный первым октябрьским утренником. Он клевал сизым распухшим носом и давно не правил вожжи, а только держался за них для равновесия.

Наконец появился третий участник невеселого кортежа: каурый жеребенок с желтой гривкой и темной полосой вдоль хребта. Последние несколько часов пути он отчаянно старался догнать мать-кобылу, но не смог поравняться даже с повозкой, которую тащил незнакомый ему черный и страшный битюг. Битюг лениво переставлял ужасно толстые ноги с грязными свалывшимися щетками и ни разу не покосил на жеребенка глазом. И ему казалось, что все забыли о нем...

Он так устал, что не почуял запаха родной усадьбы. Путь казался ему бесконечным, но оставалась надежда, что догони он мать, и дорога опять станет гладкой и звонкой, как грунтовое шоссе, на которое они выбрались поздним вечером. Как весело ему бежалось тогда возле материнского хвоста под яркими осенними звездами! Но на рассвете кончилось шоссе, пошли распаханное поле... На узкой дороге кучер злобно выругался и отогнал его кнутовищем. И тогда подступил холодный тоскливый страх, какого он не испытывал прежде. А мать все бежала и бежала впереди битюга, словно заигрывала с ним, заманивала в родные

места. И жеребенок не успевал за ними, с нарастающим ужасом чувствуя себя лишним в этой чужой взрослой игре, но все-таки не теряя надежды тоже стать ее участником...

Коляска долго стояла неподвижно. На скамейке сидел сонный кучер, одетый в сиреневый кафтан с гербовыми пуговицами, расшитый золотыми галунами и опоясанный красным кушаком. Все это было изрядно поношенным и траченным молью. На шее у него был серый пуховый платок, какие носят старухи в деревнях.

Наконец в коляске послышалась возня. Она накренилась, рессоры ее жалобно взвизгнули, и наружу тяжело выбрался невысокий широкоплечий мужчина в тесном для него овчинном тулупе и меховой шапке, точно сросшейся с его густыми бровями и бакенбардами, так что казалось, сними он шапку, и останется лыс и безбров. Зато усы господина, черные, с сизым вороньим отливом, были безукоризненно ухожены. Это был хозяин имения князь Сергей Львович Чернолусский.

Покряхтывая и бесконечно разминаясь на заиндевевших ступенях, князь недобрым взглядом смотрел на своего кучера. И вдруг прыгнул на облучок и пихнул спящего в бок. Толчок был так силен, что парень грохнулся сажень в трех от коляски, перевернулся, как подстреленный заяц, вскочил на ноги, хлопая глупыми глазами и потирая ушибленные места. Глядя на него, Сергей Львович хохотал.

– Спишь, малой<sup>1</sup>! Жалованье даром получаешь! Счастье, что Звездочка дорогу знает, не то плутали бы мы с тобой в степи.

– Жалованье... Как же-с... – обиженно бормотал кучер. – Жди вашего жалованья до морковкиного заговенья... А нешто драться можно? Заснул, мол... Заснешь... Виданное дело, по ночам степью разъезжать! Как мазурики, прости Господи!

– Молчи, дурак, – буднично возразил князь, пропустив мимо ушей слова о жалованье. – Сам знаешь, не мог я оставаться в доме этого подлого человека!

– То-то что не могли, – гнул свое кучер. – А лошадок по степи гонять можно? В объезд нужно было, через город ехать!

– Пospорь у меня!

– То-то что не поспоришь, – не унимался мстительный кучер. – Ну не хотят их сиятельство через город ехать. А почему, спрашивается, не хотят? А потому что лошадки и колясочки своей стыдятся. А чего их стыдиться? Екипаж не последний в городе.

И вновь Чернолусский сделал вид, что не расслышал этих слов. Он резво, насколько позволяли длинные полы тулупа, взбежал по ступеням, убеждая себя, что еще не стар и легок в движениях. Князь с такой силой рванул тяжелую дверь, что стекла на первом этаже жалобно зазвенели.

– Егорыч! – взревел князь. – Открывай, старый мендюк<sup>2</sup>!

От княжьего рыка усадьба пришла в движение. В воздухе вдруг зашумело. Это тысячи готовившихся к отлету грачей взмыли с построек и деревьев. Небо над усадьбой из серого сделалось черным, и в нем точно черви зароились. Но в доме по-прежнему было тихо. Наконец, в покосившемся флигельке, в окне второго этажа, показалось заспанное детское личико, сменившееся испуганным лицом старика. Через несколько секунд его обладатель уже мчался в ночном колпаке, фланелевом халате и тапочках на босу ногу по хрусткой ломающейся грязи и причитал на бегу:

– Проспал! Ведь проспал, отец родной!

Это был дворецкий князя Африкан Егорович Курицын, прозванный мендюком за черные, маленькие, глубоко посаженные глаза и длинные седые усы, свисавшие от ноздрей наподобие шнурков.

---

<sup>1</sup> Парень (*простонарод.*).

<sup>2</sup> Налим (*простонарод.*).

Из прихожей, швырнув тулуп с шапкой на пол, Чернолусский прошел прямо в гостиную с мозаичным паркетом, невоощенным и изрядно подгнившим в углах. По-медвежьки облапив голландскую печь, князь застонал от удовольствия.

Дворецкий с нежностью смотрел на господина.

– Егорыч, а я тебе подарок привез, – отогревшись, весело сказал князь.

Глаза его насмешливо блеснули.

– Подарочек? – растрогался старик.

– Пошли, покажу!

Выйдя на террасу, князь приказал убрать с повозки рогожи. На дне ее, вмерзшая боком в замороженную солому, лежала матерая волчица. Ее лапы были стянуты веревкой и крепко привязаны к жердине. Из-под веревки кровоточило, и так же сочились кровью сосцы зверя, отчего солома под ней стала розовой. Ее мутные глаза были полузакрыты, и, если бы не часто вздымавшийся бок, можно было бы подумать, что зверь мертв. В носы князя и дворецкого ударило псиной и мочой. Старик отшатнулся. Князь весело заглядывал через его плечо.

– Хороша зверюга?

Но в доме князь снова помрачнел.

– Егорыч, ты почему не в доме ночевал?

– А потому я не ночевал, батюшка, – отвечал дворецкий, – что после отъезда вашего в доме стало нехорошо-с.

– Что значит нехорошо-с? – усмехнулся Сергей Львович. – Привидения, что ли, поселились?

– Не знаю, как это и назвать-с, а только стало нехорошо, – твердил испуганный дворецкий.

– Подай мне хересу!

– Хересу, батюшка, нету.

– Что значит нету? – рассвирепел Чернолусский. – Ты его выпил, что ли?

– Я хересу отродясь не пил, – обиделся дворецкий. – Вы его со своими приятелями третьево дни выпили-с.

– Так пошли мальчишку к Дардыкину!

– Не стану я мальчика куда посылать, – заупрямился Африкан Егорович. – Ему там не дадут ничего, кроме разве подзатыльников. Не желаете ли сливяночки моей выпить? Чистый мед!

– Твоей сливяночкой... – князь обреченно махнул на него рукой, – твоей сливяночкой только клопов морить. Подай мне водки!

– Хорошо ли это, отец, водку с утра пить?

– Хорошо не хорошо! Делай, что тебе сказано!

Князь готов был взорваться. Но, отлично зная упрямый характер дворецкого, решил подействовать на него лаской.

– Замерз я, дядька, – жалобно сказал он. – Замерз, и растрясло меня. Без водки не засну.

Обращение «дядька» возымело магические последствия. Лицо дворецкого расплылось в улыбке, руки его задрожали, а в глазах вдруг появилось выражение рабского восторга.

– Уж принесу, принесу! Не подать ли еще малосольной капусточки?

– Неси, брат, и капусточку!

Выпив холодной водки и не притронувшись к закуске, Сергей Львович воспрянул духом. Он взял с ломберного стола письмо, переданное, как сообщил ему дворецкий, проезжим мещанином. От письма пахло гречневой кашей. На конверте неровным и, как сразу определил князь, женским почерком было написано: «Его Сиятельству, Князю Чернолусскому».

«Светлейший Князь! (При слове „светлейший“ Сергей Львович самодовольно усмехнулся.) Помните ли Вы меня? Помните ли Вы ту, что стала несчастной по Вашей милости? О, я знаю, Князь! Вы выбросили меня из жестокова сердца? Князь! Разве Вы не знаете? Все видит Бог, Князь!»

Чернолуцкий зевнул и небрежно бросил письмо на стол.

В дверь тихонько постучали.

– Входи, Африкан Егорович.

Дворецкий с осуждением посмотрел на ополовиненный штоф с водкой и стал ворошить в камине давно потухший каменный уголь. Князь недовольно смотрел на него.

– Егорыч, ты зачем пришел?

– Следователь вчера были-с.

– Курослепов?! – мгновенно оживился князь. – Я его, михрютку, люблю!

– Ольга Павловна исчезла-с.

– Что ты мелешь! – закричал Сергей Львович.

– Вернулся лесничий домой с ярмарки, а дочки-то и нету. Ни дома, ни в городе нету. Он спрашивать... Приказчик Дардыкина ему и говорит: мол, видели вашу Оленьку ночью в княжеской коляске. Лесничий к приставу. Пристав с Курослеповым сюда. Только я им обыск делать не позволил. Князя, сказал, дожидайтесь.

– Ступай, Егорыч, – задумчиво сказал князь. – И вот еще что... Снеси-ка ты, братец, что-нибудь в город, к жиду.

Дворецкий покачал головой и вышел. В прихожей он едва не столкнулся с таинственным существом. Совершенно лысое, облаченное в какие-то пестрые лохмотья, это существо стояло в дверном проеме и сверлило дворецкого безумным взглядом.

– Африкан! – хриплым голосом произнесло существо, оказавшееся древней старухой. – Африкан, скажи мне правду! Это Он приехал?

Дворецкий почтительно приблизился и крикнул старухе в самое ухо:

– Нет, это не Он, маменька! Это ихнее сиятельство приехали!

## Вирский

– Любопытная вещица!

Барскому надоело прикидываться спящим, и он весело заглядывал через плечо Джона в книгу.

– Обратите внимание! В небе *точно черви зароились!* Это он о грачах. Реалистически очень точно. С другой стороны – прямое влияние декадентства. В то время обожали заигрывать с небесами. Одни запускали в них ананасом, другие видели там червей. Простите, но я смотрел на вас, пока вы читали. У вас такое серьезное лицо! Неужели вы принимаете эту дребедень за чистую монету?

– Дребедень? – рассеянно спросил Джон, которому явно не хотелось отрываться от чтения.

– Дребедень – значит ерунда. Например, «перестройка» – это ерунда, дребедень! Те, кто придумал это слово, через несколько лет будут его стыдиться. Как, впрочем, и слова «обустроить», которое придумал Солженицын.

На этот раз Половинкин внимательно посмотрел на Барского. В его глазах мелькнуло какое-то неприятное для Барского сомнение. Эти глаза словно говорили: «А стоит ли вообще всерьез разговаривать с этим человеком?»

– Вы думаете, Россия так безнадежна?

Теперь настал черед Барского быть внимательным к словам своего юного собеседника.

– О! Хороший вопрос! Не знаю, безнадежна ли Россия, но вы, мой друг, во всяком случае, не безнадежны, раз спросили это.

– У вас нет ответа на мой вопрос? – упрямо спросил Джон.

– Пожалуй, нет... В Россию можно только верить.

– А *вы* в нее верите?

Барский театрально округлил глаза:

– Ого! Неужели эта книжка так на вас повлияла? Вы задаете один точный вопрос за другим! И снова мне нечего вам ответить. Вернее, я должен подумать. Как насчет водки? Не желаете изменить своим принципам?

Джон подумал и резко помотал головой, так что шляпа на его голове не успевала за ее движениями.

– Как вы думаете, – спросил он, – для чего эта мать дворецкого? Мне показалось, что она не играет в сюжете никакой роли.

– Для вящей убедительности, – ответил Барский. – В этой книжке самое замечательное то, что полностью придуманный сюжет наполняется живыми деталями. От письма пахнет гречневой кашей. Это изумительно! Сразу понятно, что письмо от мещанки или купчихи. Князь ее соблазнил, а возможно, и обрюхатил...

– ???

– Она от него забеременела. И этот уголь в камине... Можно догадаться, что действие происходит в южной части средней полосы России. Где-то за Тулой или под Орлом, где мало лесов.

– И эта Оленька! – возбужденно подхватил Джон.

– Тут вы не правы. Таких Оленек, дочек лесничих, в нашей литературе конца века было пруд пруди. Чехов спародировал этот тип в «Драме на охоте».

– Я не читал «Драму на охоте», – сказал Половинкин.

– Вот как! Что же вы читали? И откуда так хорошо знаете русский язык? Не похоже, чтобы вы воспитывались в России...

На лице Половинкина вновь вспыхнуло сердитое выражение, как в то время, когда Барский спросил его о родителях.

– Молчу, молчу! – поторопился успокоить его Барский. – Я все время забываю, что каждый человек имеет право на свое *privacy*. Ах, вы летите в безумную страну, Джон! В ней всё так засекречено, но ничто не является тайной. Взять хотя бы этот детектив. В нем куча мистики, а вывод банален. Читайте, читайте, не буду вам мешать!

Павел Иванович Ознобишин, лесничий М-ского уезда, нескладный, долговязый, с испытанным страдающим лицом, стоял на террасе и сердито допрашивал княжеского кучера. Парень отвечал охотно, но бестолково. Ознобишин нервничал, временами срываясь на визгливый крик.

В гостиной князя ждали следователь Федор Терентьевич Курослепов, толстый, одышливый, с бабьим лицом и постоянно потеющими затылками, которые он протирал огромным платком, и капитан-исправник Илья Степанович Бубенцов, молодой, самолюбивый и словоохотливый полицейский.

Курослепов сидел на старом продавленном стуле, осторожно щупая его и проверяя на прочность. Бубенцов ходил взад-вперед по гостиной, бросая сердитые взгляды на живописное собрание на стене. Некоторые полотна сняли недавно, и от них на обоях еще оставались светлые квадраты, отчего галерея напоминала щербатый рот. Исправник остановился перед большой картиной с изображенными на ней мужчинами, застывшими в изломанных позах, в черных фраках и высоких цилиндрах. Но его внимание привлек не сюжет, а осколки бутылочного стекла на нижней части рамы.

– Кто художник? – нервно спросил Бубенцов.

– Кажется, Гогарт, – нехотя ответил Федор Терентьевич и, зевая, перекрестил рот.

– Дорогая?

– Копия...

– А эта? – Бубенцов грубо ткнул дымящейся папиросой в альпийский пейзаж.

– Какое вам дело?

– Решительно никакого!

Курослепов тяжело встал со стула, подошел к Бубенцову и уставился на него немигающими слезящимися глазами.

– Илья Степанович, за что вы так ненавидите Сержа? Я понимаю, он человек невозможный. Но и вы тоже хороши.

Бубенцов пожелтел от злости.

– С чего вы взяли, будто я его ненавижу? Слишком много для него чести!

– Если все дело только в Ольге Павловне...

– Молчите! – в бешенстве крикнул исправник. – Или вы рискуете стать моим врагом! Впрочем... вы правы! Я знаю, что вы это знаете и что это знает весь город, и Ольга Павловна – тоже. Да, я люблю! Да, понимаю, что это безнадежно! Но я не позволю смеяться над своими чувствами разным титулованным мерзавцам!

– Кто же над вами смеется, голубчик!

– Люблю и не стыжусь! – не слушая, продолжал Бубенцов. – Да, я плебей, солдафон! Я не учился в университете, как вы с князем. Но я получил это место, честно служа Отечеству! И за это меня презирают наши уездные фронтеры!

– Не кричите вы так! – поморщился Курослепов. – Например, я вас уважаю. Всяк человек на своем месте хорош...

– Всяк человек? Всяк человек – вы сказали? Вот и вы меня презираете! Но мне наплевать-с! Ведь я, Федор Терентьевич, перед вами и князем трепетал-с. Вот, думаю, люди тонкие, образованные. Их не пороли в детстве, они не слышали от родителей пьяной ругани. Их не запирали в чулане с крысами на всю ночь. Но теперь – шалишь! Теперь я мно-о-го о

вас знаю! И заметьте, не бегу докладывать по начальству. Потому что свою гордость имею! А Ольги Павловны вы не касайтесь! Для вас это пустяк, анекдот-с! Думаете, я не знаю, какое mot запустил князь в обществе? «Влюбленный жандарм – это такая же пошлость, как палач, играющий на мандолине». Ужасно остроумно!

– Вы ошибаетесь, Илья Степанович, думая, что я не разделяю ваших чувств. Я как раз их очень разделяю...

В это время в гостиной появился князь. Исправник замолчал, надулся и сделал вид, что рассматривает картины.

– Здравствуй, Федя! – небрежно сказал Чернолуцкий, не замечая Бубенцова. Князь был облачен по-домашнему в бухарский халат.

Услыхав голос Чернолуцкого, в гостиную влетел лесничий. Он был похож на злобного гуся.

– Где моя дочь, исчадь ада? – зашипел он.

– Господа! – переходя на официальный тон, вмешался Курослепов. – Довольно задираться. Я желаю поговорить с Сергеем Львовичем наедине. Где это возможно?

– В моем кабинете, – пожав плечами, ответил Чернолуцкий...

– Нехорошее дело, Серж! – говорил Курослепов, прохаживаясь вдоль груды сваленных на пол старинных книг. – Если Ольга Павловна находится в твоём доме, это еще полбеды. Она девушка совершеннолетняя и может распоряжаться собой. Разумеется, будет скандал. Даже грандиозный скандал. Ну, тебе не привыкать. Верни девушку отцу, и я постараюсь это как-нибудь замять. Что это за книга? Очередная хиромантия?

– Черная магия, – равнодушно отвечал князь. – Ольги Павловны здесь нет.

– Предположим. Когда ты видел ее в последний раз?

– На «Вавилоне». Помнишь, мы с Алексеем рассказывали тебе о нашей идее. Вышло ужасно скверно! Ольга убежала от меня той ночью, а утром я уехал к Ревичу. Больше я ее не видел, клянусь!

– Она не ночевала дома. Твой кучер подтвердил, что он привез ее к тебе вечером третьего дня. Я вынужден произвести у тебя обыск, Серж.

– Изволь, – со странной улыбкой согласился князь...

– Позовите урядника с понятыми и приступайте к обыску, – вернувшись в гостиную, сказал Курослепов Бубенцову...

Читатель! Спутник! Пока Бубенцов с урядником обыскивают дом, мы расскажем тебе о князе Чернолуцком и его «Вавилонях».

Князь Сергей Львович Чернолуцкий был личностью широко известной в уезде и самую безнравственную. Промотавши денежное состояние своих покойных родителей, включая и долю безвременно и при весьма загадочных обстоятельствах скончавшегося старшего брата, их сиятельство на этом не успокоился. Он не только заложил и перезаложил под векселя свое имение, но и за сущий бесценок продал главную фамильную гордость Чернолуцких – лес Горячий, предмет зависти уездных охотников. Оставшись гол как сокол, князь скатился до того, что стал потихоньку спускать ростовщикам последние вещи и картины. Делалось это тайно, через раболепно преданного ему дворецкого. Но в городе все знали об этом и почти открыто смеялись над князем.

Его прислуга разбежалась, за исключением старого дворецкого, преданного князю, как бываю преданны рабы старой крепостной закваски, и малахольного кучера, которому князь не только ничего не платил, но и не стеснялся одалживаться у него крепчайшим самосадам, когда в дороге ему вдруг хотелось покурить.

Развязка этой истории приближалась неотвратимо. Но князя это нимало не заботило. Страстный охотник, не имея средств содержать свою охоту, он разъезжал с ружьем по соседям, принимавшим его только из уважения к его покойным родителям. Аппетиты князя уж

были не те... Он более не играл в карты, потому что ему не верили в долг; не ездил в Москву пьянствовать с приятелями, с которыми давно переругался; не делал своим любовницам, все еще многочисленным, дорогих подарков и даже при случае у них же разживался деньгами, при этом не считая себя альфонсом и имея наглость презирать всех женщин на свете. Но в одном Чернолуцкий не смел себе отказать. Это были знаменитые княжеские «Вавилоны»...

Читатель! Вероятно, ты уже догадался, что участники этих «Вавилонов», происходивших в доме князя примерно раз в месяц, занимались не возведением Вавилонской башни, но тем, чем не меньше прославились древние вавилоняне, а именно: самым изощренным и разнузданным развратом. Неудивительно, что на эти оргии князь приглашал людей проверенных по части всевозможных безобразий. И разумеется, только холостых. В их число, увы, входил и Федор Терентьевич Курослепов, который не оказался на последнем «Вавилоне» по причине прозаической: у него разболелись зубы.

О том, что же происходило на этих «Вавилонах», уездные жители говорили с негодованием и отвращением. Впрочем, достоверных свидетельств об этом не имел никто, кроме самих «вавилонян».

Между тем слухами о «Вавилонах» полнился весь уезд. Говорили, будто девиц легкого поведения, доставляемых для князя и его гостей из губернского города Т\*\*\*, однажды вымазали ваксой, дабы придать им облик смуглых хананеянок. Говорили, что была ванная с шампанским, после которой в доме носились полчища мух. Говорили, будто бедных девушек видели как-то ночью нагими в княжеском пруду. К ногам их были привязаны рыбы хвосты из картона. В результате одна из девиц чуть не утонула, потому что ее хвост затянуло илом. Говорили, что, одолжив у цыган дрессированного медведя, князь заставил девиц голыми кататься на нем в саду, отчего несчастное животное взбесилось и было хладнокровно застрелено князем.

Но наиболее осведомленные утверждали, что вовсе не эти забавы были изюминкой княжеских «Вавилонов». Для каждого из них князь лично придумывал что-то особенное, утонченно-развратное. Так, на один из «Вавилонов» пригласили из Москвы скандального поэта, одного из тех горе-писак, которых наш публицист Н. К. Михайловский метко окрестил декадентами. На другой «Вавилон» были специально выписаны восточные близнецы со сросшимися боками, предмет удивления и сострадания, но не объект для пьяных насмешек. Князь подверг несчастных близнецов жестокому эксперименту. Он напоил одного из них портвейном, наблюдая, как пьянеет и второй, даже не касавшийся губами пьяного напитка. Еще на одном «Вавилоне» была женщина-змея, способная укладываться целиком в тесный ящик, годный только для большой куклы. И тут князь не обошелся без жестокости. Он оставил жертву собственного искусства в ящике до утра.

И все сходило ему с рук!

Однажды сам генерал-губернатор обещал, что закроет лавочку Чернолуцкого, позорящего старинный дворянский герб. Но эта угроза не перешла в законное действие. Говорили, что супруга губернатора побаивается князя, зная о его тайной библиотеке, которую князь удивительным образом до сих пор не распродал. То были десятки богопротивных книг о черной магии, собранных старшим братом Чернолуцкого, библиоманом и средней руки литератором.

За неделю до описываемых событий идея нового «Вавилона» овладела князем. Среди приглашенных были: следователь Курослепов; помещик Талдыкин, молодой, но с уже заметными порочными склонностями господин, живший тем, что сдавал имение дачникам; а также неизменный участник всех оргий, дальний родственник князя Алексей Иванов, проживавший в Москве вечный студент, которого недавно с позором исключили из университета за воровство в университетской гардеробной.

Иванову была послана телеграмма. Князь приглашал родственника погостить у него «в глуши» и просил его самого придумать изюминку для «Вавилона». Князь предлагал «не стесняться в расходах», обещая «возместить сполна», каким образом, о том не было сказано. Иванов с энтузиазмом взялся за дело. Накануне он прочел в «Новостях дня» фельетон о некоем чародее, обманывавшем публику бессовестным образом и бравшем за это немалые деньги. Статейка была подписана «Фома Неверующий». Таким образом автор намекал на то, что он был один, кто остался не оболваненным «фальшивым магом», как он назвал героя своей статьи. Смешное описание «чудес», происходивших в доме сенатора Недошивина, человека всеми уважаемого, но неразборчивого на знакомства, позабавило Иванова. «Это то, что нужно», – подумал он. Князь обожал плутов. Он ценил их искусство выше всех занятий и не раз признавался Иванову, что, если бы не его титул, он непременно сделался бы вором или конокрадом. Мысль посмеяться над пройдохой, вывести на чистую воду и не заплатить ни копейки, а может, еще и накостылять по шее, показалась Иванову соблазнительной. Объявление господина Вирского, так звали мага, он нашел в «Московских ведомостях», с удивлением заметив, что афишка шарлатана печатается в такой уважаемой газете, в то время как его разоблачитель устроил свой фельетон в бульварном газетном листке.

«Что-то здесь не то...» – размышлял Иванов по дороге к Вирскому. Внешность господина, встретившего его в дверях квартиры в доходном доме на Пятницкой улице, поразила Иванова. Вирский был прекрасен! Его умные, живые, пронизательные глаза смотрели на визитера с насмешкой, словно он понимал, с какой задней мыслью пришел к нему Иванов. Изящно очерченный рот, волевой подбородок и классический профиль головы говорили о натуре дерзкой и оригинальной.

Вирский немедленно согласился ехать в имение князя продемонстрировать свое искусство. «Я давно не был на природе», – сказал он. Иванов хотел рядиться о гонораре, но Вирский презрительным жестом оборвал его.

– Я не нуждаюсь в деньгах, – сказал он. – Я беру их только потому, что всякий труд должен быть как-то оплачен. Размер своего гонорара я оставляю на вашей совести и хочу оговорить лишь дорожные расходы.

Конечно, это предложение пришлось Иванову по душе. «Не видать тебе гонорара как своих ушей!» – смеялся он про себя.

– Согласен, – сказал он вслух, – но с условием, что все деньги будут вам выплачены сразу после сеанса.

– Вы сомневаетесь в моем искусстве?

Иванов напомнил ему о фельетоне в «Новостях дня».

– Я знаю фельетониста, – с презрением сказал Вирский. – Прежде всего это человек глупый и невежественный.

– Все-таки я хочу убедиться в вашем искусстве, – развязно заявил Иванов.

– Вы в этом уверены? Что же вам показать?

– Поднимите взглядом мраморную пепельницу на столе так, чтобы я мог провести под ней рукой.

– И это все? Не высоки же ваши запросы, юноша!

Однако Вирский не торопился проделать фокус с пепельницей. Он неотрывно смотрел на Иванова. И вдруг студент почувствовал, как вместе со стулом он поднялся в воздух и повис в верхушке от пола, слегка раскачиваясь, как на остановившихся качелях.

«Это гипноз!» – решил Иванов. Тем не менее ему было страшно от взгляда Вирского, проникавшего в самую сердцевину его маленькой души.

– Отпустите! – жалобно попросил Иванов, и стул тотчас с легким стуком опустился на пол.

– Не угодно испытать меня еще? Хотите, я расскажу о скверном поступке, который вы сделали вчера в Сандуновских банях? Само собой, это останется *entre nous*...

– Не надо! – испугался студент.

– Хотите знать, что произойдет с вами через неделю?

– Ни в коем случае! – Иванов почему-то испугался даже больше, чем когда висел в воздухе. – Я предпочитаю жить сегодняшним днем.

– «Довлеет дневи злоба его...» – усмехнулся Вирский. – «На всякий день своя забота...» Похвальный принцип! Жаль, что я не могу ему последовать. Но перейдем к делу. Суть моих занятий состоит в том, что я являюсь посредником между этим миром и потусторонним. На сегодня это высшее, чего я достиг. На публике я показываю разные фокусы, читаю мысли и двигаю предметы на расстоянии. Но я уверен, что князя не интересуют подобные пустяки.

– Что будет нужно для вашего спектакля?

– Спектакля? Впрочем, называйте, как вам угодно. Мне нужен молодой человек, еще лучше – девушка. Непременное условие состоит в том, что он или она должны быть... невинны. Проще говоря: мне нужны девственник или девственница. В вашей компании найдутся такие?

– Вряд ли! – захохотал Иванов. – Но дядя что-нибудь придумает. Я сегодня отправляюсь к нему, а вас мы ждем завтра с вечерним поездом... На станции вас встретит кучер с коляской.

В назначенный вечер князь, Иванов и Талдыкин, поглотив изрядное количество горячительного, с нетерпением ждали мага. Пустые бутылки цимлянского валялись на полу. На диване нервно скучали три девицы из заведения госпожи Метелкиной, исправно поставлявшей «живой товар» всем уездным развратникам. Князь был мрачен, но при появлении Вирского оживился.

– Наконец чародей пожаловал! Выпей с нами!

– Я не пью, – возразил маг. – Добровольно не хочу, а по обязанности... не желаю.

– Вот ты каков! – нахмурился Чернолуцкий. – А ты, братец, оказывается, гордец! Так поворачивай туда, откуда приехал!

Иванов и Талдыкин пьяно захохотали. Ни слова не говоря, Вирский развернулся и вышел в переднюю.

– Вернуть!

Иванов бросился за гостем.

– Ну что вы, отец, право! – уговаривал он Вирского. – Сергей Львович пошутил... Ну, простите его! Сидит в глуши, не видит образованных людей, одичал.

– Я вернусь, – сказал Вирский, – но предупреждаю, что мне нет дела до нрава его сиятельства. Я требую, чтобы он принес мне извинения...

– Извиниться? – добродушно спросил князь. – Изволь, я готов.

Его извинения вполне устроили Вирского.

– Если не возражаете, я начну.

– Покажи нам фокусы, любимец богов! – сказал пьяный Талдыкин.

– Извольте! Вы, князь, извинились передо мной, но продолжаете про себя называть меня словами, которые так пошлы, что я не буду на них обижаться. Напротив, я предлагаю вам обратить вашу злую мыслительную энергию в физическую. Возьмите бутылку и бросьте ее мне в голову.

Князь тотчас схватил тяжелую бутылку и метнул ее в гостя. Все ахнули! Однако, не долетев до цели, бутылка чудесным образом изменила свою траекторию и раскололась о стену, испортив одну из картин.

Все были поражены, кроме князя.

– Я промахнулся, – промычал он.

– Попробуйте снова.

– Нет уж... Надоело! Начинай свой сеанс спиритизма.

– Это не спиритизм, – возразил Вирский. – Спиритизм – английская забава, которая мне давно наскучила. Все эти вращающиеся блюдца и перестукивания с покойниками напоминают мне совокупление слепых. Я владею более высоким искусством. Я могу на ваших глазах воплотить в тело душу названного вами умершего человека.

– Так приступай! – желчно перебил его князь. – Я хочу потолковать с моим покойным отцом.

– Вы в этом уверены? – спросил Вирский, в упор глядя на князя.

– Начинай, черт тебя возьми!

Но Вирский медлил и оглядывался по сторонам.

– В чем дело?

– Разве ваш родственник не сообщил вам о моем условии? Души мертвых блюдут крайнюю чистоплотность и не вселяются в первую попавшуюся телесную оболочку. Грубые тела для них невозможны. Вы не станете заворачивать новорожденного младенца в дерюгу? Так и здесь. Лев Львович Чернолусский будет говорить с вами устами только непорочного молодого человека. Еще лучше девушки.

– К вашим услугам целых три! – захохотал Чернолусский.

– Вы меня не поняли... Она должна быть девственницей.

– Да как ты смеешь! – вдруг возмутился Талдыкин. – Я не позволю тебе оскорблять женщин в присутствии дворянина!

– Что тут оскорбительного? – удивился маг. – Я привык уважать всякий труд, в том числе и... этих прелестниц. Но душа Льва Львовича откажется вселяться в женское тело, которого касался мужчина.

– Молчи! – крикнул князь Талдыкину. – Волхв решил посмеяться надо мной. Ему не объяснили, кто таков Чернолусский и как он умеет блюсти честь своих гостей. Через час сюда будет доставлена девушка, за невинность которой может поручиться всякий, если он не последний негодяй. Пусть она заговорит голосом моего отца, который я еще не забыл. В противном случае, маг, твоя собственная душа пожалеет о том, что воплотилась в этом брэнном теле...

– Вы говорите ужасно много слов, князь, – насмешливо перебил его Вирский.

## Волчица

- Вы спите? – спросил Барский.  
– Нет-нет! Просто задумался. Вы верите в переселение душ?  
– Вообще-то, я атеист. Но как эгоист предпочитаю верить, что после моей смерти мое «я» до конца не умрет. Поэтому меня греет этот невинный русский индуизм, эти сказочки о русалках, оборотнях и прочих переселениях душ.  
– Читайте до конца, – сухо добавил он, – потом поговорим. Но учтите! Обсуждать эту чушь на трезвую голову я не согласен.

К дому лесничего была послана коляска. Коварный князь знал, что отец Ольги Павловны уехал в губернский город и бедная девушка находится в доме одна. Знал он и о том впечатлении, какое производил на несчастную, томящуюся в лесной глуши под неусыпным взором отца-тирана. В записке, посланной с кучером, князь бессовестно признавался ей в любви и просил немедленного свидания.

Чтобы скоротать время, Вирский попросил у князя позволения осмотреть его библиотеку.

– Молодой человек, – сказал он, указывая на Иванова, – рекомендовал вас как страстного книжника. Он сказал, что в вашем доме хранятся редкие издания по оккультизму и черной магии.

– Он спутал меня с покойным братом, – лениво возразил князь. – Изволь, смотри.

Дворецкий проводил Вирского в кабинет. Через час он вернулся. Глаза его горели. В руках он держал черный фолиант.

– Мы с вашим родственником не оговорили размер моего гонорара. Я оставил его на ваше усмотрение. В деньгах я не нуждаюсь, но если бы в случае успешной демонстрации моего искусства я получил бы в качестве вознаграждения эту книгу...

– Изволь, – отвечал князь. – Но боюсь, что твоим вознаграждением будут твои помятые бока.

В это время в гостиную вошла Ольга Павловна. Она была бледна и дрожала. Было видно, каких внутренних сомнений и нравственных мук стоил ей этот поступок. Но не это беспокоило князя. Он о чем-то перешептывался с кучером.

– Никак нет-с! – докладывал кучер. – Никто не видел-с!

– Вот девственница, чернокнижник! – громко произнес князь по-французски. – С этой минуты твою душу ничто не спасет!

– Подумайте о своей душе, – холодно отвечал Вирский.

Он подошел к девушке и взял ее за руку. Рука была холодна как лед. Вирский заглянул в глаза Ольге Павловне, и они сперва расширились от ужаса, но тотчас закрылись спокойно, как во время глубокого сна. Она упала без чувств в руки Вирского. Потом ее тело дрогнуло и изогнулось в судороге, словно пронзенное электрическим током. Содрогания повторились несколько раз. Когда конвульсии кончились, Ольга Павловна твердо встала на ноги и подошла к князю. При виде ее бледного лица, озаренного неземным вдохновением, Талдыкин в ужасе бросился из гостиной. Князь оставался на месте и внешне был спокоен.

– Ты хотел говорить со мной, Сережа? – глухим старческим голосом заговорила девушка. – Я пред тобой.

Девушки на диване завизжали, но после короткого огненного взгляда, брошенного магом, обмерли.

– Я не боюсь тебя, старый хрыч! – крикнул князь. – Я единственный, кто не боялся тебя при жизни, не думаешь ли ты, что испугаюсь тебя мертвого? Ступай назад – в могилу!

– Я не пугать тебя пришел, – смиренно отвечал старый князь. – Я давно тебя простил. И мать, которую ты первой свел в гроб, простила тебя. Я сам хотел с тобою говорить.

– Чего ты хочешь?

– Доверь управление именем нашему родственнику графу Б. Сделай это немедленно! Времени осталось совсем мало...

– Пошел к черту! – сказал Сергей Львович.

– Сереженька... – в голосе старого князя не было обиды, он был мягче прежнего. – Ты не можешь знать, что с тобой произойдет...

Внезапно Вирский шагнул к Ольге и взял ее за плечи.

– Что такое! – воскликнул князь. – Зачем ты остановил его?!

– Душа не может долго находиться в чужом теле, – объяснил Вирский. – Это небезопасно для души, которая его временно покинула. Она может не вернуться назад. Посмотрите, что стало с девушкой, она почти мертва.

На лице князя промелькнула тень раскаяния.

– Вы довольны, князь? – насмешливо спросил Вирский. – Книга моя?

– Пошел прочь, колдун! – взорвался Чернолуцкий. Выражение его лица стало свирепым. – Алешка! Заплати ему... сколько-нибудь. И прикажи кучеру отвезти его чародейство куда его душе угодно, хоть к дьяволу!

– Ты еще пожалеешь о своих словах! – прошептал Вирский.

Чернолуцкий схватил лежавший на столе револьвер и, наведя на лоб Вирского, нажал на спусковой крючок.

Осечка! Не говоря ни слова, маг взял из рук уже стоявшего рядом дворецкого плащ с цилиндром и не спеша вышел из гостиной. Иванов побежал за ним. Вдруг раздался женский крик. Это Ольга Павловна, осознав весь позор своего положения, закричала и бросилась к дверям. Князь хотел остановить ее, но почувствовал, что не в силах пошевелить рукой. Вернувшийся Иванов с удивлением спросил князя, что здесь произошло.

– Догони ее! – закричал Чернолуцкий...

Обыск в доме не дал результатов. Взялись за служебные постройки. Капитан-исправник предложил начать с дальнего сарая возле пересохшего пруда.

– Не думает ли господин Бубенцов, что я спрятал девушку в навозном сарае? – с издевкой спросил Чернолуцкий. – Это было бы не по-джентльменски.

Вдруг общее внимание обратилось на дворецкого. С ним происходило что-то странное. Он был бледен и мелко дрожал, как осина на ветру. Бубенцов подскочил к нему:

– Ты что-то знаешь, старик?

– Ничего-с...

– Он что-то знает, но скрывает от нас!

– Ничего-с...

Князь с изумлением рассматривал старого слугу.

– Егорыч! Если ты что-то знаешь, говори...

– Ничего-с...

– Я приказываю тебе...

– Федор Терентьевич! – завопил Бубенцов. – Прикажите ему молчать! Я и не кончал университета, но и я хорошо знаю, что до выяснения дела нельзя позволять подозреваемым общаться друг с другом!

– Сами бы помолчали... – с досадой отвечал Курослепов.

Ворота риги оказались заперты на новый замок.

– Не кажется ли вам странным, – сказал Бубенцов, – что брошенный сарай так заботливо охраняется?

Трясущимися руками дворецкий достал ключи и отпер ворота. Сунувшийся в сарай первым Бубенцов тотчас выскочил. Из темноты сарая, глухо ворча и скаля желтые зубы, медленно вышла волчица. С ее морды сочилась кровавая пена, перемешанная с древесными опилками. Зверюга вертелась на месте, поджав хвост и вздыбив шерсть. Несколько раз угрожающе клацнула зубами и затем, убедившись, что ее боятся преследовать, не спеша потрусил в поле.

– О, черт! – опомнился Бубенцов, выхватил револьвер и несколько раз выстрелил. От волнения он промазал. Серой молнией волчица метнулась в мокрый осенний бурьян и там затаилась.

– Умное животное! – с невольным восхищением сказал старый урядник. – Обратите внимание, господа! Не убегает, а прячется. Так в нее попасть труднее.

Сергей Львович вдруг захохотал.

– Что, господа сыщики! Нашли девицу? Не правда ли, хороша? А ты, Егорыч, старый плут! Как ловко ты всех нас разыграл! Этого зверя, господа, я от Ревича привез. Хотел из нее чучело сделать. Егорыч запер ее в сарай, а мне не сказал.

– Прикажете осмотреть ригу? – спросил следователя урядник.

– Делай что положено, – буркнул Курослепов.

Урядник вошел в сарай, наполненный перепревшей и кисло пахнувшей соломой, но вскоре вернулся с построжевшим лицом.

– Мы не даром сюда пришли, господа!

Исправник со следователем кинулись внутрь. Лесничий на ослабевших ногах последовал за ними. В темном углу, возле полуразвалившейся печки, сложенной из дикого камня, прикрытое почерневшей соломой, белело женское тело, в котором лесничий тотчас опознал свою единственную дочь. У Ольги Павловны было аккуратно перерезано горло.

## Коготок увяз, всей птичке пропасть

С Половинкиным происходило что-то странное... Барский уже пожалел о том, что дал ему эту книгу. Юноша был страшно взволнован. Лицо его покрылось красными пятнами, а кисти обеих рук, сжимавшие тоненькую брошюру, наоборот, побелели от напряжения.

– Что с вами, друг мой? – осторожно спросил Лев Сергеевич.

– Кажется, вы предлагали выпить водки... – глухо ответил Половинкин, не глядя в его сторону.

Упрашивать Барского было не нужно. Через минуту в руке юноши был пластиковый стакан со «Смирновской». Он опрокинул его залпом, точно стакан воды, и, отказавшись от нехитрой закуски, вновь погрузился в чтение. Барский хмыкнул, пожал плечами и, сильно сморщившись, выпил свою порцию...

– Федор Терентьевич, батюшка! Отпустите Сергея Львовича! Это я ее зарезал!

– Что ты несешь, болван! – сквозь зубы процедил князь, как-то странно глядя на своего дворецкого. – Кого ты можешь зарезать, старый таракан!

Затем князь долго молчал, опустил свою кудрявую голову.

– Довольно, Федя! Не мучай старика. Ольгу Павловну зарезал я.

– Эвон как вышло, – молвил старый урядник, перекрестившись.

Повторный, более тщательный обыск в доме князя оказался успешнее. В кабинете среди груды почерневших от времени и сырости книг нашли стальной стилет английского производства со следами запекшейся крови.

– Это ваша вещь? – официальным тоном спросил Курослепов.

– Вот он где... – равнодушно отозвался князь.

Курослепов приказал всем выйти. Он вновь хотел поговорить с князем наедине.

– Вспоминай, Серж! – говорил он Чернолуусскому, с обреченным видом сидевшему в кресле за письменным столом. – Это очень важно для тебя! Одно дело – хладнокровное убийство. И совсем другое – поступок, совершенный под влиянием минуты. Может быть, ты схватил стилет в бешенстве, желая догнать мага? Ты сказал, что стрелял в него, что вышла осечка...

– Не помню, – отвечал Чернолуусский. – Я был пьян, и в меня точно бес вселился. Я бегал по парку, куда-то падал. Впрочем, не помню...

– Ты помнишь, как ты увидел Олю?

– Не мучай меня! – попросил князь.

Курослепов с грустью посмотрел на него:

– Бедный Серж! Я предупреждал тебя. Эти «Вавилоны»! Книги! Откуда в тебе, наследнике древнего дворянского рода, нездоровая страсть к эффектам, к декадентщине? Я понимаю – Иванов. Он тупица, невежда, мошенник. Но ты! Мы оба с тобой не веруем в Бога. Но есть игры, в которые нельзя играть, Серж!

– Только теперь я понял это, – согласился князь...

Увы, читатель! Ведь ты догадался, как было дело? Князь продавал из дома последние вещи и картины, но продолжал хранить в своем кабинете богомерзкие книги, о коих праведный Иоанн Кронштадтский сказал, что не токмо читавший, но и прикоснувшийся к ним христианин навеки погиб духовно. Курослепов знал о нездоровом влечении своего друга к черной магии и по мере сил старался его отвадить. Но... увы, увы! Там, где поселился дьявол, добрые слова и мысли бессильны!

Узнав от князя с Ивановым о замысле нового «Вавилона», Федор Терентьевич умолял князя оставить безумную затею, а когда понял, что это невозможно, умыл руки, сказавшись больным. Теперь Курослепов казнил себя за это и даже написал прокурору бумагу с просьбой отстранить от следствия.

Следствие было недолгим... Единственным пробелом оказался сам Вирский, который, вернувшись в Москву, тотчас скрылся за границей. Талдыкин был оправдан вчистую, ибо той ночью он, обезумевший от страха, носился по всему городу, стучался в дома знакомых и незнакомых людей, что и было засвидетельствовано оными. Талдыкин сошел с ума. Его именем распоряжается его родственник, и весьма успешно. Студент Иванов после отъезда Вирского напился мертвую и напоил веселых девиц. Нет худа без добра! Все три девушки, потрясенные случившимся, покинули заведение госпожи Метелкиной и встали на праведный путь, открыв на паях в городе белошвейную мастерскую. А вот студента Иванова вскоре нашли повесившимся. В кармане его лежала записка бессмысленного содержания, где несколько раз повторялось: «Нет больше сил! Нет больше сил!»

Случившееся той ночью было страшно и отвратительно, как всё, что идет от нечистого. Одержимый бесом, князь схватил со стола острый нож и бросился за Вирским. Но он не сумел догнать коляску. Возвращаясь, князь встретил Ольгу Павловну. Девушка блуждала впотьмах. Испытав муки совести, Чернолуцкий взялся ее проводить, но она решительно отказалась.

И тогда сатанинская гордость овладела Чернолуцким.

– Я противен тебе?! – вскричал он.

– Вы противны мне оба, – тихо отвечала девушка.

– Как смеешь ты сравнивать меня с Бубенцовым, этим ничтожеством! – возмутился князь. – Сию же минуту ты будешь моей!

Неравная борьба между ними привела к ужасному финалу. Князь забыл, что в его руке смертоносное орудие. Когда кровь хлынула из горла его жертвы, он испугался и, убежав в дом, спрятал стилет в груди книг.

Наутро князь как ни в чем не бывало отправился в соседний уезд на охоту. После тяжелых попок с ним и прежде случались провалы памяти. Он не помнил ничего из того, что случилось ночью. Старый дворецкий обнаружил тело девушки возле сарая. Он всё понял и принял решение, оправданием коему может служить только его врожденная натура раба. Старик спрятал мертвое тело в сарае, а когда князь привез волчицу, решился на последнюю глупость. Перенеся вместе с кучером зверя в сарай, он через некоторое время тайно вернулся, осторожно разрезал веревки на лапах волка и выскочил вон. Расчет был тот, что князь забудет о волчице, как он обо всем на свете забывал, а она, оголодав, сожрет труп. И – концы в воду...

Нанятый дальним родственником князя графом Б. адвокат приложил много стараний, чтобы Сергея Львовича Чернолуцкого признали умалишенным на момент совершения убийства. Курослепов, закрыв глаза на служебный долг, ему в том помогал. Однако на суде князь вел себя так вызывающе, так откровенно дерзил судье и обвинению, что суд и присяжные единогласно вынесли суровый обвинительный вердикт.

В пересыльной тюрьме Чернолуцкий скончался от разрыва аорты. Африкан Егорович Курицын недолго пережил своего хозяина. По крайней мере, старый дворецкий скончался не в проклятом княжеском доме, а в имении графа Б., приютившего у себя несчастного старика вместе с его безумной матерью.

Курослепов вышел в отставку. Он бросил пить, женился на молодой вдове с ребенком и теперь от скуки пописывает научные статьи в юридические журналы. Впрочем, лишенный литературного таланта, он нанимает для этого бедных писателей, которые на бумаге воплощают его мысли.

Эти статьи касаются вопросов исключительно профессиональных. Например, одна из них называлась «О травлении человека собакою. Из заметок уездного следователя». Но одна его оригинальная статья, опубликованная в нижегородском «Криминалисте», вызвала бурные споры в столичной прессе. Она называлась «Романический характер преступления и методы его расследования».

## Половинкин проводит расследование

Выпив водки, Барский пришел в приятное расположение души и, как это всегда бывает с людьми часто выпивающими, но озабоченными тем, как они при этом выглядят в глазах других, стал подчеркнуто деликатен к своему соседу.

– Мне не терпится поговорить с вами о книге, – сказал он. – Почему она так взволновала вас?

– Хотите знать, кто зарезал Оленьку? – спросил Джон.

– Разве не князь?

– Конечно нет.

– Мне это тоже приходило в голову. Но я списал это на литературную беспомощность автора. С самого начала он все плохо придумал.

– Придумал?

– Помилуйте, Джон! Таких книжек в начале века печаталось несметное множество. Спившийся развратный князь, бедная красивая девица, отец-лесничий, уездный следователь...

Половинкин загадочно взглянул на него:

– Фома Халдеев – это псевдоним?

– Наверняка. Халдеи – это маги и чернокнижники.

– Допустим. Вирский – тоже выдуманный персонаж?

– «Вир» – означает «омут». Как все графоманы прошлого века, автор был жутким морализатором. Но при этом не чуждым литературной игры.

– Тогда объясните, – спросил Джон, – откуда у Фомы Халдеева такое внимание к деталям княжеского дома? Подгнивший паркет, копия с картины Хогарта. Эта мать дворецкого. Она не играет никакой роли. Но зачем-то же он ее описал.

– Вы хотите сказать...

– Автор этой книги – следователь Курослепов. Вернее, он нанял для ее написания некоего Халдеева. Он снабдил его материалами следствия и сообщил историю реального убийства во всех подробностях. Но этот Халдеев оказался с самолюбием. В конце повести он не удержался уколоть нанимателя, намекнув на его литературную бездарность. Таким образом, в повести слышны голоса двоих людей: Халдеева и Курослепова. Это позволяет понять, кто настоящий убийца.

– Внимательно вас слушаю...

– Вам не показалось подозрительным, с какой любовью автор описал Вирского и с какой затаенной, а потом и откровенной ненавистью выставлен князь?

– Вирский – это сам Халдеев?

– Нет. Даже после суда над князем Вирский не стал бы встречаться со следователем. Ведь убийство спровоцировал он. Просто Халдеев был знаком с Вирским и находился под его влиянием. Вот он и постарался его литературно возвысить. А издевался над князем некто иной, как Курослепов. Хотя есть подозрение, что и Халдеев имел основание ненавидеть князя. Помните, это странное письмо от женщины?

– Халдеев – внебрачный сын князя!

– И это объясняет тон повести. Если бы прочесть письмо целиком...

– Да бог с ним, с письмом! Вы хотели назвать убийцу. Это Вирский?

– С чего вы взяли?

– Находясь один в кабинете князя, Вирский похищает стилет. По дороге он что-то внушает кучеру, используя дар гипноза. Возвращается, убивает Ольгу и, воспользовавшись суматохой, возвращает окровавленный нож в кабинет.

Джон покачал головой:

– В гостиной находились три девицы и студент Иванов. Как бы они ни были пьяны, невероятно, чтобы Вирский мог пройти незамеченным. Хотя это не имеет значения. Убийца сам выдал себя в книге.

– Курослепов?!

– Без сомнения! Курослепов, как и пристав Бубенцов, был влюблен в Ольгу. Он рассчитывал на взаимность, но получил отказ. Бубенцов был чуток на отношение людей к себе. Он не ошибся: Курослепов презирал его. Тем больнее ударил по самолюбию Курослепова отказ девушки. Помните, что он сказал Бубенцову? «Я вас очень понимаю!» А странный крик Ольги Павловны: «Вы противны мне оба!» Но кто – оба? Князь и Бубенцов? Однако князь наутро не помнил ничего. Как он мог передать эти свои слова следователю, а тот – Халдееву? Это она Курослепову, а не князю кричала. Это Курослепов подстерег ее ночью в усадьбе князя, потерянную, заблудившуюся, и попытался воспользоваться ее бедственным положением. Но Ольга Павловна, хотя была сильно обижена князем, домогательства Курослепова отвергла.

– Интересная версия, – сказал Барский, – но неосновательная.

– Это не версия, – строго ответил Половинкин. – Я понял, что убийца – Курослепов, когда дочитал до фразы: «Девушка не ночевала дома». Курослепов сказал это князю, когда они были одни в кабинете. Но откуда он это знал? Ольга могла убежать от князя, вернуться домой, переночевать и только утром исчезнуть. Тело не найдено, а следователь уже все знает.

– В самом деле...

– Зачем он настоял на беседе с глазу на глаз? Что за интерес к книгам во время разговора? Ему нужно было подбросить стилет, который он похитил у князя во время последней встречи. Тогда Чернолуцкий рассказал ему о готовящемся «Вавилоне», о Вирском и о том, что для сеанса нужна невинная девушка. Курослепов догадался, кто будет эта девушка. Нетрудно было догадаться и чем это все закончится. Тогда он решил подстеречь Ольгу ночью и воспользоваться ее обидой на князя...

– Князь не был чернокнижником?

– Это даже смешно! Разве будет чернокнижник держать книги на полу? Помните, как засверкали глаза Вирского, когда он нашел ценный для него фолиант. Скорее всего, он знал о нем заранее. Круг библиофилов тесен, и он наверняка слышал о брате князя и его библиотеке. Ради этой книги Вирский и согласился поехать в имение, сказав, что гонорар его не интересует.

– Верно! – подхватил Лев Сергеевич. – Но князь не показался мне простофилей. Зачем он взял убийство на себя?

– Помните его состояние, когда убежала Ольга? Он ни рукой, ни ногой не мог пошевелить. Он был раздавлен. Вирский едва не погубил девушку, но при этом разбудил совесть в князе. Когда он пришел в себя, он бросился искать Ольгу Павловну, чтобы раскаться перед ней. Но он ее не нашел. Вернее, ее мертвого тела. Убив Ольгу, Курослепов спрятал ее в сарае. Это тело обнаружил дворецкий, когда они с кучером отнесли туда связанную волчицу. Дворецкий убедил кучера, что молчание в его же интересах, и перерезал веревки на лапах зверя. Он сделал это, думая, что девушку убил князь.

– Глупо. – Барский сморщился.

– Что вы хотите от старика? Он был в панике, желал выручить своего господина. Но похоронить труп или надежно спрятать его – было выше его сил. Расчет был на то, что волчица, оголодав, сожрет труп. Князь по-своему оценил поведение старого слуги. Он, конечно, понял, что дворецкий не убивал, но стал невольным соучастником чужого преступления. Скорее всего, князь догадался, кто убийца, потому что знал о его страсти к Ольге. Но

тем более положение дворецкого было безнадежным. Ведь следствие будет проводить сам убийца. Помните, что князь сказал Курослепову? «Довольно, Федя! Не мучай старика...»

– Поистине рабская любовь! – вздохнул Барский. – Но почему наутро князь так спокойно поехал на охоту?

– Утром он снова был человеком без совести, – продолжал Половинкин. – Но мертвое лицо девушки, на время расставшейся со своей душой, оставалось в его памяти и не давало покоя.

– Но как вы объясните поведение девушки? Поехать одной, ночью к известному всему городу мерзавцу...

– Вообразите положение Ольги Павловны, – вздохнул Джон. – Старый отец, который ее тиранил. Пошлый Бубенцов, сластолюбивый Курослепов, которые ее домогались. Вот и весь ее небогатый выбор. Скучная жизнь в лесу. Она бросилась к князю, которого любила, как загнанный зверек. И что? Князь хладнокровно позволил вынуть из Ольги душу.

Барский с каким-то новым интересом смотрел на Джона. Что-то в лице этого юноши и в его речах беспокоило его, наводило на какие-то свои неотчетливые воспоминания.

– Стало быть, главным виновником смерти Ольги все-таки является князь? – недовольно спросил Барский.

– Выходит так, – согласился Джон. – Если бы не его бессердечное отношение к девушке, Курослепов не мог бы ее убить.

– Мне не нравится ваша версия.

– Это не версия. Это жизнь.

– Мне не нравится ваша версия, – настойчиво повторил Барский. – И я сию же секунду вам докажу, что вы ошиблись. Слушайте! – В голосе Барского появились торжественные нотки. – Прочитав книгу, я сам провел небольшое расследование. Во-первых, я заглянул в «Словарь псевдонимов» Масанова и не нашел там псевдонима Фома Халдеев. Хотя, конечно, масановский словарь не полный. Но не это главное. Я позвонил знакомому архивисту, знатоку древних княжеских родов. Вот что он мне рассказал... Последними представителями князей Чернолусских были Владимир Львович – старший и Сергей Львович – младший. Владимир Львович слыл отъявленным чернокнижником, за что был отлучен от церкви в 1892 году. Он умер при загадочных обстоятельствах. Его нашли в кабинете с разрезанными венами на левой руке. Вены резал он сам, так установило следствие. Но он не просто их резал. Он вскрывал их таким сложным образом, чтобы кровь вытекала как можно дольше. Когда рана подсыхала и кровь сворачивалась, он хладнокровно подновлял порез. Он умирал, наблюдая, как из него медленно сочится жизнь.

– Удивительно! – воскликнул Половинкин.

– И это не всё, – продолжал Барский. – Сергей Львович Чернолусский действительно был осужден за убийство дочери лесничего и скончался в пересыльной тюрьме от разрыва сердечной аорты. Заботу о его заложенном и перезаложенном имении взял на себя его дядя, граф Бобрищев. Он выкупил имение и во время Русско-японской войны открыл там санаторий для солдат. В виде санатория имение сохранилось после революции. Сейчас там краеведческий музей.

– Где это? – спросил Джон.

– В Малютове, – отвечал Лев Сергеевич. – Есть такой скверный городишко.

Выждав театральную паузу, Барский продолжал:

– А теперь я вынужден вас разочаровать. Вы ошиблись в вашей версии.

– Однако вы со мной согласились...

– Нисколько, – возразил Барский. – Я согласился только с тем, что князь Ольгу не убивал. Но и следователь Курослепов тоже не виновен. Вы не обратили внимания на одну очень существенную деталь.

Барский взял у Джона книгу и стал листать.

– Вот! «У Ольги Павловны было аккуратно перерезано горло». Не просто перерезано, но *аккуратно*. Вы можете себе представить, что кто-то мог аккуратно перерезать горло молодой здоровой девице, воспитанной в лесничестве? Как бы она ни была угнетена поступком князя, ее организм невольно сопротивлялся бы насильственной смерти. Поэтому аккуратно перерезать ей горло могли как минимум два человека. Да еще и обладающие недюжинной силой. Да еще и имеющие навык в этом деле. Попробуйте без всякого опыта перерезать горло хотя бы курице. У вас руки затрясутся, и нож выпадет из рук. В крайнем случае вы изуродуете шею несчастной птицы, но почти наверняка не убьете ее. А теперь представьте, что на месте курицы человек!

– В самом деле... – пробормотал Джон. – Как я этого не заметил?

– Вы были слишком увлечены психологическими подробностями. Вы смотрели на убийство, так сказать, с романтической точки зрения и не обратили внимания на простой факт. Из вас может получиться писатель, но не следователь.

– Почему на тот же факт не обратил внимания Курослепов?

– Уверен, что обратил, – отвечал Барский. – И окровавленный стилет он нашел в кабинете князя во время первого же обыска. Однако он сделал вид, что не заметил его в груди книг. Он искренне хотел спасти своего приятеля. Мало ли, как дело повернется? Может быть, труп не найдут, а никаких других доказательств вины князя нет. И уголовное дело останется, говоря сегодняшним жаргоном, висяком.

– Как вы сказали?

– Нераскрытым преступлением. Конечно, за такие дела следователей не награждают, но и не наказывают строго. Карьеристом Курослепов не был, вот он и решил пожертвовать профессиональной честью ради друга. Но когда тело Ольги было найдено в сарае, Курослепову было некуда деваться. И во время повторного обыска он «случайно» обнаружил нож. Князь во всем сознался... И так далее...

– Но вы сами сказали, что один человек не мог аккуратно перерезать горло.

– Курослепов посчитал пособником князя его дворецкого. И тогда он просто пожалел старика. Старый раб, бесконечно преданный хозяину, согласился стать соучастником преступления и держал девушку, пока князь резал ее, как овцу. Потом, чтобы выгородить князя, попытался взять вину на себя. Помните, князь воскликнул: «Как мог ты это сделать, старый таракан?» Конечно, зарезать он не мог. Но держать жертву за ноги – почему нет? Во всяком случае, других версий у следствия не было. Уездное судопроизводство... Закрыли глаза. В самом деле – зачем было мучить старика?

– Тогда я ничего не понимаю! – воскликнул Джон. – Во-первых, вы противоречите себе. Вы только что сказали, что согласны с моей версией невинности князя.

– Я и сейчас с ней согласен, – сказал Барский, со странным наслаждением наблюдая за волнением юноши.

– Во-вторых, зачем было нужно князю резать ей горло? Кажется, он не был маньяком и садистом.

– Конечно, не был.

– Ну и?..

– Каков мой ответ? Оленьку убили те, на кого вы меньше всего могли подумать. Помещик Талдыкин и студент Иванов.

– Невероятно!

– Вы обратили внимание, что Талдыкин и Иванов сошли с ума? С Талдыкиным это случилось сразу. Он носился по ночному городу, стучал во все окна, вел себя как безумный. Иванов, натура более циничская, сбрендил позже. Зато так основательно, что повесился. Помните содержание его предсмертной записки? «Нет сил! Нет больше сил!» Сил на что?

На то, чтобы помнить, что он проделал той ночью вместе с Талдыкиным. Талдыкин крепко держал девушку за ноги, а Иванов острейшим английским ножом, как заправский мясник, резал ей горло.

– Но зачем?! – вскричал Джон.

– Они находились под гипнозом Вирского. В таких случаях говорят: действовали как зомби. Скорее всего, сеанс Вирского не был реальным перемещением души в чужое тело. Это был обычный коллективный гипноз, которым Вирский владел отменно. Находясь в кабинете князя, Вирский уже нашел орудие для своего преступления. Он взял нож и в нужный момент подсунил его Иванову, которого он зомбировал, когда они вдвоем оказались на террасе без посторонних глаз. Талдыкина он обработал потом. Сильный и глупый молодой человек – чего лучше искать?

– Значит, убийство было ритуальным? – механически спросил Половинкин, думая о чем-то своем.

– Для чего это было нужно Вирскому, я не знаю, – ответил Лев Сергеевич. – Но он поехал в имение князя, заранее рассчитывая... пролить кровь невинной жертве.

– ???

– Это что-то жреческое или сатанинское, – равнодушно объяснил Барский. – Не считаю, что над этим нужно всерьез задумываться. Задумаешься и, чего доброго, сам с ума сойдешь. Вот Курослепов поступил правильно. Он знал, что у князя хранятся сатанинские книги его старшего брата. Знал, что Чернолуцкий-младший эти книги почему-то не продал. Видимо, решил Курослепов, князь помешался, то ли от водки, то ли от «Вавилонов», и пошел по стопам старшего брата. То есть его заинтересовала магия крови. Но убивать себя, как сделал старший брат, Сергей Львович не стал. Он был слишком эгоистичен и жизнелюбив. Вот он и зарезал Ольгу, чтобы попрактиковаться в черной магии, решил Курослепов. Но сделал это глупо, бездарно, с помощью преданного слуги, который раскололся при первом удобном случае. Курослепов знал, что мамаша дворецкого сошла с ума от общения со старшим братом Чернолуцким. То же самое случилось и с ее сыном, подумал следовательно.

– Почему же он не подумал на Вирского?

– Как знать, может быть, и подумал. Но Вирского след простыл, а князь во всем сознается. У Курослепова, действительно влюбленного в Ольгу, не было оснований очень уж любить князя. Зачем усложнять? – решил он. Но после смерти Сергея Львовича в нем, возможно, заговорила совесть. Он добровольно ушел в отставку, осчастливил вдову с ребенком и стал пописывать в журналы статейки. Как там? «О травлении человека собакой», ха-ха!

Джон молчал, погруженный в какие-то свои мысли.

– Эй, приятель! – Барский помахал ладонью перед его лицом. – Не принимайте так близко к сердцу! Ольги Павловны не вернешь. Даже косточки ее уже истлели. Живите настоящим, приятель!

– Налейте мне водки, – попросил Джон.

Мисс Маргарет Шарп, бригадир стюардов и стюардесс рейса Нью-Йорк – Москва, без стука вошла в кабину пилотов.

– Что случилось, Марго? – спросил командир.

– В хвостовой части, сэр, двое каких-то русских достали огромную бутылку водки и опорожнили ее наполовину.

– Они скандалят? Сделайте им замечание.

– Я уже сделала, сэр. Они предложили мне выпить с ними, сэр. В это невозможно поверить, но это так!

Командир поморщился.

– Что я должен делать, Марго?

– Уверена, вы знаете, сэр.

Мисс Шарп сердито покинула кабину.

– Черт! – взорвался командир. – Эта старая дева не успокоится, пока я не сообщу в Шереметьево о пьяных русских! Черт! Над нашим рейсом смеется вся шереметьевская милиция! Но русские сейчас объявили сухой закон, и на мое сообщение будут вынуждены отреагировать. Русские всегда много пили. Так они решают свои проблемы. Почему я должен мешать русским решать свои проблемы?

– Вы можете не сообщать в Шереметьево, сэр, – напомнил второй пилот.

– Шутись? Тогда мисс Шарп сама сообщит обо мне куда следует. Ее боится весь совет директоров компании. Нет, я не хочу себе лишних неприятностей.

До прилета в Москву оставалось три часа. Половинкин пребывал в том состоянии опьянения, когда непривычный к алкоголю молодой организм еще не разобрался, как ему отвечать на сильнейшее отравление. Все пассажиры казались Джону невыразимо прекрасными, а тесные стены самолета раздвинулись до размера Вселенной. Барский выглядел трезвым, но на вопросы отвечал медленно, долго задумываясь над их смыслом.

– Солженицын великий человек, – соглашался он, – но, к сожалению, не слишком умен.

– Это невозможно! – с пылающим лицом спорил юноша.

– Именно так, мой друг. Все великие деятели не слишком умны. Им нельзя долго задумываться. Задумаешься и перестанешь действовать. Действуют не Гамлеты, а Полонии, Джонушка.

– А где мы сейчас находимся?

– Не понял...

– Где мы сейчас пролетаем?

Барский посмотрел в иллюминатор. За ним было черным-черно.

– Где-то над Белоруссией, – уверенно сказал он.

– А что там сейчас делают?

– Пьют, Джонушка.

– Все пьют?! – испуганно воскликнул Половинкин.

Барский пожал плечами... Через полчаса Джон снова поинтересовался: где теперь пролетает их самолет?

– Мы пересекли границу России, – важно комментировал Барский, сверившись с черным иллюминатором.

– А что там делают?

– Пьют, – твердо ответил Барский.

– Неужели все?!

– Все до одного!

– Боже, как грустна наша Россия! – всхлипнул Половинкин и немедленно заснул, уронив шляпу на колени и пуская пузыри, похожие на бубль-гум.

## Глава третья Ненастье

### Городок Малютов

Никогда еще со времен денежной реформы и первого полета человека в космос жители маленького, но старинного городка Малютов не были так потрясены и оскорблены в своих гражданских и человеческих чувствах, как тем холодным ранним утром середины октября 1967 года, когда...

Но – по порядку...

Накануне, ночью, разбушевалось последнее предзимнее ненастье. Деревянные избы на главной улице городка противно закрипели от шквалистого ветра, напугав не только обывателей, но и их сожителей – рыжих тараканов. Под утро ветер стих, и на город спустилось нечто вроде тьмы египетской. На Покров ждали снега, но он не пошел. Зато просыпался ледяной колючий дождь, исхлеставший ржавое железо крыш и речку Сестрицу, предательски покинутую своими верными стражами – белыми гусями. Затем непогода нехотя ушла на восток, и ненадолго усмехнулся ехидный рот молодого месяца.

В мире стало пустынно и холодно. Вода в речке успокоилась, но спускавшаяся ночью к Сестрице пожилая дурочка Зина всех уверяла, что вода в ней стонет и потому надо ждать больших несчастий. Дурочке не поверили. Каркала она и прежде и всегда впустую, за что и была неоднократно бита заведующей универсамом, могучей и суеверной бабой, о которой поговаривали, будто наворовала она столько, что ОБХСС не трогает ее из чистого профессионального любопытства: жалко раньше времени срывать такой великолепный, но еще незревший плод. Зинке не верили до поры, пока...

Зинка врала не только про воду. Тараща выпуклые с красными прожилками глаза, она говорила, будто выходила ночью из реки молодая женщина, нагая и прекрасная, но совсем без глаз.

– А глазоньки-то ей раки повыели! И глядела она пустозёнками своими и жалостно кликала кого-то. Во-от, бабы!

А тут еще в город пришел старец. Вернее, *явился*. Никак по-другому нельзя было назвать появление этого странного человека, похожего одновременно на бродягу и староречимого профессора. Он был одет в серый, вытертый на локтях, но еще опрятный пиджачок и... черное трико, подсевшее и коротковатое в щиколотках. На ногах его были выдавшие виды кеды, на груди висел большой кипарисовый крест на толстом шнурке, на носу сидели увеличительные очки со сломанной и обмотанной изолентой дужкой. Лицо у старца было чистое, розовое, изящно вылепленное. На высоком лбу ни одной морщинки. Глаза умные и пронизывающие. Узкие губы плотно сжаты, но это почему-то не делало его лицо сердитым. Подбородок его заканчивался аккуратной, постриженной клинышком бородкой, мерно качавшейся в такт с ольховой палкой, на которую старец не опирался, а только нежно касался ею земли, словно ощупывая перед собой путь, хотя при этом шагал бодро и уверенно.

Не успели бдительные малютовцы обмозговать появление в городе неизвестной и, быть может, опасной личности, как случилось что-то невероятное! Старый священник Меркурий Беневоленский, живший в своем доме на краю церковной площади, прямехонько напротив места исполнения своих, прямо скажем, сомнительных профессиональных обязанностей, выскочил из домика в одной рясе и шлепанцах. Он резво подбежал к старцу, покло-

нился ему до земли и припал губами к его руке. При этом старец, выглядевший куда моложе попа, ласково погладил его по седой голове.

Доброго и мирного отца Меркурия в Малютове не любили только двое: упомянутая завуниверсамом и церковная старостиха. Старик недавно овдовел и держал в помощницах смазливую девушку Настю. Об этом вопиющем факте аморального разложения священнослужителя его недоброжелательницы не раз сообщали и в местное епархиальное управление, и в обком партии, частенько путая адреса. Но письма оставались без последствий. О безупречном облике отца Беневоленского хорошо знали и в обкоме, и в епархии. Впрочем, однажды нагрянувший в приход с инспекцией отец благочинный, внимательно рассмотрев Настеньку и крикнув от неодобрения, строго-настрого приказал отцу Меркурию сменить прельстительное чадо на нечто более приличествующее его сану и возрасту. «Ты бы это, Меркурий, старушку какую ни то завел. Уж больно девица красива, к тому же круглая дура. Сам не заметишь, как доведет до греха!» На это Меркурий Афанасьевич неожиданно твердо возразил, что после мамушки-попадьи он с другими старушками нигде, кроме как в храме, общаться не может, а наипаче – терпеть их в своем домашнем хозяйстве, где всё напоминает ему о покойной. Иерей вздохнул, еще раз бросил сердитый взгляд на обмершую от страха девушку и мудро постановил утопить собственное распоряжение в хрустальной рюмочке со «Столичной», нарочно хранимой Меркурием для подобных визитов.

После короткого разговора со старцем Беневоленский отпер церковь, и они вошли в храм. Что там было, не видел никто. Но о том, что произошло в доме отца Меркурия, знала его помощница, а следовательно – весь Малютов.

Маленькое, но чистое и светлое жилище Меркурия Афанасьевича гость, не лукавя, похвалил. Похвалил он и Настю за чудесные щи с грибами. Погладив девушку по голове, старец высунул остренький язычок и скорчил такую уморительную гримасу, что Беневоленский чуть в обморок не брякнулся, а Настя, наоборот, залилась счастливым смехом, точно маленькая девочка от шутки слегка подгулявшего отца. Именно с этого момента, говорила Настя, она поверила, что старец – святой. «А Меркурий безгрешный», – строго прибавляла она.

Между старцем и хозяином дома случился престранный разговор...

– Откуда вы меня знаете, Меркурий Афанасьевич?

– Да как же! – всплеснул руками священник, как бы изумляясь бестолковости гостя. – Ведь мы с вами вместе учились! Только вы курсом постарше. О вас столько разговоров в семинарии было! В пример и подражание нам ставили. Я и потом, простите за суетное любопытство, за карьерой вашей следил. И когда вы, совсем молоденьким, епископом стали, я чрезвычайно гордился: вот с каким человеком вместе учиться довелось!

– Это давно было, – поморщился старец.

– У меня статьи ваши из «Богословского вестника» хранятся. И книга ваша «Тернии на пути в Небесный Иерусалим».

– Плохая книга, – возразил старец. – По молодости и глупости написанная. Но откуда вы заранее знали о моем приходе?

– Да как же! – снова удивился Меркурий Афанасьевич. – Мне Петенька Чикомасов об этом сообщил.

– Какой Петенька?

– Секретарь районной комсомолки. Прекрасный человек!

– Ну хорошо. А этот ваш... Петя откуда про меня слышал?

Беневоленский всплеснул руками.

– Разве вы не знаете, что за вами следят?

– Это я, положим, отлично знаю. Но вы с какого припека здесь оказались?

Беневоленский смотрел на старца, изумленно хлопая глазами. Старец смутился и густо покраснел.

– Я не потому вас спрашиваю, что в чем-то подозреваю. Но как-то странно... вы и комсомол?

– Ничего странного, – Беневоленский пожал плечами. – Комсомольцы такие же, как и мы, люди. Среди них замечательные личности есть. Вот, например, Петя Чикомасов. Я с ним часто беседую. У него кабинет уютный, и картиночки по стенам висят, графики разные со стрелочками. Такой аккуратный молодой человек! А какой внимательный! Всегда чаем с конфетами угостит. Я и с партийными товарищами состою в отношениях. И они ко мне прекрасно относятся. Я ведь – но это тайна! – детишек у многих из них крестил.

Старец усмехнулся.

– Я смотрю, у вас тут идиллия! Партийные детишек своих крестят, а комсомолец со священником чай распивает! И что, никаких неприятностей?

Беневоленский загрустил:

– Не все, конечно, хорошо.

– Да уж я думаю!

Наступило неловкое молчание. Они впервые почувствовали, насколько они все-таки разные люди. На помощь пришла Настя.

– Меркурий Афанасьевич наемни тако-ое учудил! Уж я смеялась, смеялась, чуть не лопнула! Пригласил его к себе Чикомасов и спрашивает: кто из комсомольцев нашего города крещеный? Ему, мол, список нужен. Ой, я не могу! Вы, батюшка, сами расскажите!

Отец Меркурий самодовольно улыбнулся:

– Я ему и говорю: изволь! Первый в списке – ты. Он побледнел и кричит: не может такого быть! (Его матушка парторгом на фабрике работает.) Я говорю: как не может, когда я тебя в твоём доме в купель опускал и крестик на шею повесил? Я, говорю, твой домашний батюшка получаюсь. Так в списочке своем и пометь. Очень он, бедный, расстроился!

Все трое долго смеялись.

Беседуя с Беневоленским, старец размышлял о чем-то. Наконец он сказал:

– Решил я в вашем городе остановиться. Нет ли у вас гостиницы?

Отец Меркурий чуть со стула не упал.

– Не думал я, что вы меня так обидеть сможете! – вскричал он. – Что ж мне потом, сквозь землю провалиться? Что обо мне люди скажут? Что я по трусости в приюте вам отказал? Нет, как хотите, а поживите у меня хотя бы несколько дней.

Старец задумался.

– Ну... хорошо.

Беневоленский был счастлив, что в его доме остановится знаменитый старец, о котором ходили легенды. В двадцатые годы, став самым молодым в православной церкви епископом, отец Тихон, в миру Никанор Иванович Аггеев, не захотел примириться с обновленством, которое коммунисты навязывали церкви, и испросил у оптинских старцев благословение на юродство. Портновскими ножницами он остриг себе волосы и бороду, обрезал рясу выше колен, в таком виде явился к архимандриту и назвал его собакой. Тихона отправили в психушку, потом выпустили, потом снова забрали, но уже люди из ГПУ. Там не поверили, что епископ сошел с ума. Товарищи из органов были пронизательней церковников. Он чудом избежал расстрела и выжил на Соловках, где среди больничных работников лагеря оказались его духовные дети. Проработав весь срок в больничке, отец Тихон вышел на свободу и продолжал юродствовать. Он скитался по всей стране, пешком дошел до Хабаровска и Владивостока, имея в своем вещевом мешочке только самое необходимое для независимой жизни, а также стопку бумаги, на которой писал карандашом ученый труд по аскетике. Ненадолго останавливаясь у своих духовных учеников, старец просил их только об

одной услуге: спрятать и сохранить уже исписанные листы и купить новой бумаги и карандашей.

И этот человек обращался к Меркурию Афанасьевичу просто, но вежливо, по имени и отчеству, не тыкая. Последнее особенно понравилось священнику, напомнив о его покойном отце, сельском попе и интеллигенте, книгочее и фантазере. Настрадавшись в черноземной глухомани, среди хмурых низкорослых мужиков (впрочем, кротких и добродушных и виновных разве в том, что откупные заведения они посещали охотней, чем храм), Афанасий Беневоленский мечтал определить своего сына по торговой части, чтобы тот, став богатым купцом, посетил Европу и самолично увидел ее исторические памятники, о которых он сам знал из иллюстрированных приложений к «Ниве». И потому, когда мальчик родился в декабре, в день святого Меркурия, отец усмотрел в этом знак свыше. До Европы его сын не доехал. Как и старшие братья, он закончил семинарию и стал обычным провинциальным попом.

– Простите... – пробормотал Беневоленский, за воспоминаниями пропустив часть речи Тихона. – О каком человеке вы сказали?

– Родион Родионович Вирский. До меня дошел слух, что он в вашем городе.

– Я ничего об этом не слышал.

И вновь в разговор вмешалась Настя:

– Ой, вы никогда ничего не знаете! Да, поселился у нас такой. Он директором краеведческого музея работает. Станный! Голова лысая, на голове шишка, и он ее все трогает, трогает!

– Постой! – оборвал ее старец. – Не тот ли это музей, что в бывшей усадьбе князей Чернолуцких? Да ты о том ли человеке говоришь? Он не лысый, а с волосами, бородкой и усиками. И глаза у него...

– Смеются? – подхватила девушка. – Вежливый такой, голос приятный, прямо бархатный, а глаза смеются, точно он вас за дуру считает.

– Это он! – выдохнул отец Тихон.

– Да, он в княжеской усадьбе поселился. Чикомасов ему, на радостях, что из самой Москвы человек приехал, служебную квартиру предлагал. А он говорит: нет, хочу в усадьбе жить. Сторожа из флигеля турнули, а он въехал. Там тараканов, тараканов! А он говорит: ничего, я их совсем не боюсь...

– Да откуда ты все это знаешь? – не выдержал Меркурий Афанасьевич.

– Ой, откуда? Про это весь город знает.

И тут случилось непонятное. Отец Тихон обхватил руками голову, стал раскачиваться на стуле и мычать, будто от сильной зубной боли.

– Нашел... Ох, грехи мои!

– Что с вами, отец Тихон?

– Нашел... Ох... сволочь...

Лицо старого священника вытянулось. За употребление таких слов он отчитывал прихожан, внушая им, что слова эти черт выдумал и что не только вслух произносить, но и помыслить подобное о ближнем есть большой грех. И вдруг – старец! О!

– Простите меня, – опомнился отец Тихон, прочитав мысли старика. – Я этих слов сам не терплю. Но этот человек – единственный на земле, о котором я не только помыслить, но и сказать такое за грех не считаю. Это страшный человек. Лучше, чтобы его вовсе на земле не было. Да, не качайте головой! Уж я-то знаю!

Но тут они заметили, что Настя вся обмерла. Глаза ее смотрели в сторону, и всем видом она как бы говорила: да вы рассказывайте, рассказывайте, мне это совсем не интересно, я вас не слушаю даже.

Тихон молча указал на нее глазами.

– Ты, Настенька, иди погуляй, – правильно оценил его взгляд отец Меркурий. – Ступай, голубчик, к старушкам! Они уж тебя ждут с полной информацией. Не томи их и себя не томи.

– Бедная! – вздохнул он, когда Настя с неохотой удалилась. – Я ее потому держу, что у меня никаких тайн ни от кого нет. Все сейчас всем разболтает. Хорошая она, добрая, но головкой слабенькая. Вообразила, что Чикомасов ее замуж взять хочет. А ее никто не возьмет... Это она сейчас хохочет, резвится. А по весне, по погоде ненастной с ней такое бывает, что и передать вам не могу. Бес в нее вселяется! Жутко смотреть! Я ее тогда в храме на ночь запираю. Брошу ей половичок возле образа Целительницы, она ляжет, свернется калачиком и на лампадку снизу глядит. И затихает. И перемогает. Хотели ее в больницу для психических забрать, но я не позволил. С ней все-таки веселее!

– Пускай болтает, – возразил отец Тихон.

– Вы думаете?

– Вирский личность скользкая, я бы сказал, подземная. И дело у него мерзкое, за пределами человеческого разума находящееся. Потому он ищет темного угла, а громкой молвы пуще всего боится. Так что Настя – его первый враг!

Не успел отец Меркурий осмыслить сказанное, как в дом вбежала Настя. На ней лица не было.

– Убили! – кричала она, мелко дрожа. И наконец рухнула на пол, вся изогнувшись в судороге.

Ее привели в чувство, но она продолжала бормотать: «Убили... Убили...» Глаза ее были мутными, в них появилось что-то животное, отталкивающее. Ее напоили валерианой и уложили в кровать...

– Теперь вы сами видите, Меркурий Афанасьевич, – сказал старец Тихон, – что там, где появляется Вирский, обязательно происходит что-то отвратительное, нечеловеческое.

– Да кто же это такой?!!

– Это мой духовный сын.

## Максим Максимыч

Уронив голову и мрачно глядя в землю, начальник уголовного розыска районного отделения УВД Максим Максимович Соколов сидел на краю громадного пня, оставшегося от спиленной недавно бригадой рабочих двухсотлетней ветлы. В ее рваное треугольное дупло девятилетний Максимка Соколов забирался еще в первый свой приезд в Малютов с отцом на ярмарку кооператоров. Он смотрел сухими немигающими глазами и курил седьмую сигарету «Лайка» подряд. В мясистых губах капитана сигарета сгорала после трех затяжек.

Над трупом молодой женщины, убитой ранним утром начала ноября 1967 года в городском парке культуры и отдыха имени Горького, колдовали начальник ОТО<sup>3</sup> Семен Семенович Тупицын, сухопарый мужчина пенсионного возраста, и молодой следователь Илья Феликсович Варганов, присланный в РОВД из Города в целях усиления кадров и еще не смирившийся с этим несправедливым поворотом судьбы. На лице следователя было скупачущее выражение, словно это убийство отвлекло его от более важных дел.

– Поразительный случай! – говорил Тупицын, сидя на корточках и изучая труп. – Первый случай в моей практике...

– Не вижу тут ничего поразительного, – лениво возражал Варганов. – Обычное бытовое убийство с помощью, скорее всего, шнура. Удушение, оно же – задушение. Смерть наступила в результате асфиксии. Одежда на жертве в порядке, следовательно, на изнасилование не похоже. В сумочке деньги немалые, сто пятьдесят три рэ с копейками, на левой руке золотое кольцо, в ушах сережки. Ограбление тоже исключаем. Судя по внешности, дама привлекала повышенное мужское внимание. Одежда на ней новая, праздничная. Отсюда можем допустить, что она пришла на свидание. Встретились, повздорили, ну и... Как говорится, ищите мужчину.

– Удушение, говорите? – Тупицын помотал головой. – Нет, голубчик, это не удушение. Странгуляционная борозда идет вверх, и она не замкнута. Но при удушении она идет горизонтально и бывает замкнутой. Это не удушение, а повешение. К тому же, как медэксперт, я ответственно заявляю, что причиной смерти была не асфиксия. При искусственном нарушении дыхания лицо жертвы приобретает синюшный цвет, вываливается язык, происходит непроизвольное выделение мочи и кала. А эта – взгляните! – точно заснула. Смерть была мгновенной, жертва даже не успела испугаться. Конечно, вскрытие покажет. Но вот мое предварительное мнение: смерть наступила в результате разрыва шейных позвонков и продольного мозга.

– Повешение? – удивился Варганов. – Ближайшее дерево отсюда в десяти метрах. Если ее, как вы говорите, повесили, зачем было...

– Вот! – торжествующе воскликнул Тупицын. – И это еще не все. В процессе повешения, добровольного или принудительного, мгновенной смерти обычно не бывает. Мучения длятся четыре-пять минут. Сердце продолжает биться, мозг работает. Человек переживает страшные физические страдания. Поэтому лица висельников представляют собой зрелище не для слабонервных. Для того чтобы разорвались шейные позвонки, тело должно не просто повиснуть в петле. Оно должно упасть с некоторой высоты. Кстати, именно так и поступали в некоторых цивилизованных странах с девятнадцатого века. Осужденных не просто лишали опоры под ногами, а сбрасывали с высоты нескольких метров через люк. Это делалось из соображений гуманности.

– Хороша гуманность! – проворчал Варганов, ежась от утреннего холода.

Тупицын встал с корточек, протирая чистой тряпочкой запотевшие очки.

---

<sup>3</sup> Оперативно-технический отдел.

– Если предположить, что девушку убили на этом месте, напрашиваются две версии. Либо убийца был настолько ловок и силен, что повесил жертву на вытянутой руке. И при этом тряхнул ее так основательно, что разорвался спинной мозг. Либо – что куда вероятнее – он свернул жертве шею каким-то другим способом. Например, точным ударом в подбородок. Или обхватив жертву за горло сзади и резко повернув ей голову. И уже потом взял шнур и сымитировал повешение.

– Но зачем? – Варганов поморщился.

– Борозда бледная, не глубокая. Очень, очень похоже на имитацию.

– А бывали подобные случаи?

– Имитация повешения? Да сколько угодно. Обычно это делается, чтобы имитировать самоубийство. Как правило, так поступают неопытные преступники. Раздробят жертве череп или сломают шею, а потом подвешивают ее в петле и думают, что милиция констатирует самоубийство. Но всегда можно точно определить: повесился человек или нет. Например, по состоянию крови. У повешенного она темная и жидкая. Темная – от недостатка кислорода. Жидкая потому, что во время асфиксии в кровь поступают разжижающие вещества. Они заставляют ее быстрее циркулировать. Таким способом организм сопротивляется смерти.

Тупицын тяжело вздохнул.

– Сколько было убийств в вашей практике, голубчик?

Варганов густо покраснел.

– Не тушуйтесь! Это не тот опыт, которому стоит завидовать. Ах, если б вы знали, сколько совершается глупых, бессмысленных убийств! Причем самые изощренные убийства совершаются людьми простыми и необразованными. Даже удивительно, как иногда начинает работать человеческая фантазия, на какие гнусности она способна! Возьмите хотя бы этот случай... Такое впечатление, что здесь работал одновременно профессионал и полнейший дилетант.

– Что вы хотите сказать?

– Предположим, убийца свернул жертве шею. Кстати, это могло произойти и случайно. Хотел изнасиловать, схватил за шею, она неудачно повернула голову и – финита ля комедия! Но в таком случае было бы разумнее оставить тело как есть. Мало ли что случается? Шла себе бабенка, задумалась, споткнулась и брякнулась затылком об пень. Зачем имитировать повешение?

– А если ее повесили? – спросил Варганов.

– Это маловероятно. Какой же нечеловеческой силой и хладнокровием надо обладать, чтобы повесить довольно крупную женщину на вытянутой руке!

– Самоубийство исключается?

– Нет – почему? Можно допустить, что женщина сама залезла на крышу или на дерево, накинула на шею петлю и прыгнула вниз. Но что происходит потом? Кто-то вынимает ее из петли, приносит или привозит сюда и бережно кладет на всеобщее обозрение. Сегодня у нас понедельник. Как раз в этот день по этой дороге дачники спешат на утренние поезда до Города.

Тупицын еще раз осмотрел мертвое тело, и в глазах его мелькнуло что-то вроде жалости.

– Ну, все... Первичный осмотр закончен, фотографии сделаны, тело можно увозить в морг.

Варганов опомнился. Он не заметил, как уступил свои права эксперту.

– Постойте! – сухо приказал он. – Нужно подождать Дмитрия Леонидовича. Странно, что его до сих пор нет.

– Прокуратура не торопится! – Тупицын неприятно засмеялся.

Он подошел к Соколову:

– Максимыч! Да что с тобой происходит? Ты на убийстве или на природу выехал покурить? Знаешь, что будет, когда шеф из Города вернется? Он сейчас на областном совещании соловьем заливается. Какие у нас невозможно хорошие показатели! А почему? Потому что профилактика преступлений – раз, бдительная работа сотрудников РОВД – два. И вдруг звонок от заместителя. Зверское убийство бабенки накануне всенародного праздника! Нас областная прокуратура на карачки поставит. Во время подготовки пятидесятилетия Октября такое ЧП!

– Отвяжись, – буркнул Соколов.

Тупицын не на шутку обиделся.

– Максимушка, тебе нехорошо стало? – с ехидным участием спросил он. – Может, ты мертвых девушек никогда не видал?

Но тут Соколов посмотрел на Тупицына так, что у того пропала охота шутить. Что-то странное происходило с капитаном. Тупицын осторожно положил руку на капитанский погон.

– Ты ее знаешь? Я подумал: новенькая, с фабрики мягкой игрушки. Там недавно набор из деревень был.

– Елизавета Половинкина, – сказал Соколов, зло сплюнул и потянулся за восьмой сигаретой, но Тупицын перехватил его руку. – Горничная из пансионата «Ясные зори». Односельчанка моя. Я с ее отцом в один день с фронта пришел. Вместе от станции шли. На трех ногах.

– Как это?

– Две мои, одна его.

– Постой! Это тот, который семью бросил, в Город подался? Ты мне о нем рассказывал.

– Василий Васильевич Половинкин. На заработки поехал. И чтобы, значит, Лизу в Городе пристроить. Очень она о Городе мечтала. А какой заработок у инвалида? Мыкался в сторожах. Пил сильно. Ночью зимой напился в сторожке, печку закрыл и угорел. Я к нему в больницу приехал, когда он еще живой был и глазами хлопал. И знаешь, Сема, такая мука была в его глазах! И сказал он мне этими глазами, чтобы я Лизавете его помог. Мне врач говорит: они, которые угорелые, ничего не соображают и никого не узнают. Но я-то видел, что узнал он меня и все соображал.

– Значит, это ты ее сюда?

– Надавил на директора, устроил горничной. Не Город, а все-таки... Чисто, культурно, питание столичное, привозное.

– И мужики привозные... – подхватил Тупицын и тут же осекся.

Но капитан не слышал его. Он говорил для самого себя:

– Она, конечно, даже не в Город, а в Москву хотела. Целый чемодан открыток с артистами привезла, как приданое. Я, старый, смеялся. Ты, говорю, Лизок, когда один из артистов этих приедет, в упор его глазищами бей, чтобы наповал. Только спать с ним до загса не ложись, от этого дети иногда бывают. Она еще губки надула. Вы, говорит, дядя Максим, меня за дуру считаете.

Капитан тяжело встал и склонился над трупом. И вдруг завыл. Тонко и страшно, как воют деревенские бабы.

– За дуру? А кто же ты есть? Дура ты распоследняя и есть! Господи! Свалилась ты на мою седую голову! Что я теперь матери твоей скажу? Как я в селе родном теперь появлюсь? Мне старики темную сделают и морду в кровь разобьют. Что ж ты, Лизонька, наделала! И где мне *артиста* твоего искать!

Соколов оторвался взглядом от трупа и вперился в членов опергруппы.

– Где?! – закричал он. – Где этот гад подземный?!

Все замерли в изумлении. Конечно, все знали, что их начальник родился в деревне. Тупицын слышал ее название – Красный Конь. Как объяснил капитан, любивший почитать разные мудреные книги, название это связано с народными верованиями и растолковывается в книге Афанасьева о взглядах славян на природу. Подчиненные Соколова знали и о некоторых странных привычках своего начальника. Например, капитан любил крепкие словечки, но не терпел откровенного мата. Он объяснял это тем, что за мат в их деревне старики парней палками били. Знали они и о том, как проводит Соколов свой летний отпуск. Каждый год с женой Прасковьей он отправлялся в родные места, но не в дом свой, давно отписанный колхозу, а в единственный в их районе лес под названием Горячий. Там на высоком жердевом настиле, между четырьмя березами, капитан с женой проводили горячие летние ночи, днем собирая грибы и ягоды и заготавливая на зиму в несметном количестве. Прасковья на костре варила варенье, а Соколов развешивал для сушки грибы и травы.

Но даже Тупицын никогда не думал о том, что его приятель и собутыльник, самый опытный начальник районного УГРО в области, так и остался навсегда деревенским человеком. Но вот что-то случилось, треснула внешняя оболочка, и наружу вырвалось что-то стихийное, дикое для городского взгляда, но такое естественное для капитана. Не только убийство это было необычное для их маленького города, но и действия капитана будут из ряда вон. Он достанет «артиста» во что бы то ни стало, и даже страшно представить, какой будет их первая встреча. Перед Тупицыным находился уже не капитан Соколов, а разъяренный деревенский мужик, которого обидели до последней глубины души! И он этого не простит!

Между тем вывести Соколова из себя было почти невозможно. Это не удавалось даже супруге его, Прасковье, от одного грозного вида которой трепетало все отделение милиции. Она имела привычку внезапно появляться во время служебных пьянок, не исключая ночные дежурства, когда от безделья выпивалось особенно сладко. Свалившись как снег на голову, Прасковья закатывала благоверному такие могучие истерики, что их не выдерживали выдавшие виды старые менты. И только Соколов продолжал сидеть за столом, как ни в чем не бывало, и смотрел на голосившую на весь Малютов жену даже с некоторым психологическим любопытством. «Да уйми ты свою бабу!» – умоляли капитана. «А?» – спрашивал он, продолжая разглядывать Прасковью. Потом брал ее за руку и отводил домой. Причем жена, продолжая неистово браниться, шла за ним покорно. Вернувшись на службу, капитан продолжал выпивать, как всегда, не пьянея, а только тяжелея своим и без того тучным телом.

Толстеть он начал в сорок пятом, после контузии, в госпитале под Варшавой, где молодая некрасивая медсестра Прасковья приняла его в виде худенького и востроносенького лейтенанта гвардии, командира самоходной установки, с пухлыми губами и синими глазами деревенского парня, который знает о том впечатлении, какое производят эти глаза на девок, и не только деревенских, но и городских. Он и в госпитале продолжал форсить, устраивая коллективные побег в соседний хутор, где перепуганные польки принимали дорогих русских гостей, стараясь не обращать внимания на некоторые физические изъяны своих кавалеров.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.